

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 39

1984



*Юрий НОВИКОВ*

УЛИЦА  
ПОЛНА СВЕТА

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 39

---

Юрий НОВИКОВ

# УЛИЦА ПОЛНА СВЕТА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984

## Юрий *НОВИКОВ*

*Юрий Сергеевич Новиков родился в 1929 году в Москве.*

*Трудиться начал с шестнадцати лет. Воспитатель в детских домах, художник-оформитель, преподаватель в школе, сотрудник археологической экспедиции... Работая, учился. После педагогического училища окончил Московский городской педагогический институт им. В. Потежкина и филиал Полиграфического института.*

*С 1956 года — журналист и редактор в издательствах. Много ездил по стране, бывал за рубежом, в последние годы — в качестве специального корреспондента журнала «Огонек».*

*Печататься начал с 1954 года. Перевел с немецкого ряд повестей и рассказов писателей ГДР и ФРГ. Написал четыре книжки для детей, среди них сборники рассказов «Необычайные приключения собаки Дульки с четверга до субботы в одно жаркое лето» (1975) и «Долгое, долгое воскресенье» (1983), выпущенные издательством «Советская Россия».*

*Член Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей ССОД. Член Союза журналистов СССР.*

## ОЖИДАНИЕ

Дорога в санаторий предстояла не слишком утомительная — на метро до конечной остановки, а там еще с полчаса на рейсовом автобусе.

Был солнечный день, небольшой морозец сразу наладил дыхание, идти по улице было легко и приятно, и Герман Алексеевич довольно думал о том, что не пришлось брать с собой громоздкий чемодан — все уместилось в портфеле.

Он шел к станции метро тем же путем, каким каждое утро ходил в институт. Кремово-красное здание Моссовета с ажурными чугунными воротцами, дальше, под горку — магазин в доме, облицованном мрамором, потом телеграф с часами-табло над дверями, возле которых теснились группками громкоголосые бронзоволицые кавказцы в ожидании телефонных вызовов и денежных переводов, затем новая тридцатизэтажная коробка гостиницы «Интурист» с козырьком, доходившим почти до самой кромки тротуара, до вереницы пестрых автомашин, и, наконец, длинный подземный переход с газетными киосками и книжными лотками, с лестницами, сбегаящими в чрево метрополитена, шумное и все еще папахивающее чуть слышно мазутом, хотя там давно уже не было никаких шпал...

Обычно Поляков загадывал — сидит в этом подземном туннеле-переходе старик-лотерейщик или нет. Ему нравилось видеть его, когда тот в пальто, сшитом из зеленого шинельного сукна, и в нарукавниках сидел за своим столиком с билетами, прислонившись спиной к колонне — это как бы значило, что все идет своим чередом. Герман Алексеевич привык к нему, как привыкают к каждодневному автобусу, газете по утрам или жильцу, выходящему одновременно с тобой из подъезда. Правда, иногда, очень редко, там сидела жена старика — маленькая, сгорбленная, словно напуганная свалившейся на нее обязанностью (старик, наверное, сидел дома больной). В таких случаях Поляков быстро проходил мимо, не зная, как расценивать этот вариант. А возле старика он невольно замедлял темп.

Лотерейщик говорил всегда одно и то же:

— Берите билеты, граждане. Не опаздывайте, скоро тираж.

Слово «опаздывать» он произносил отечески, наставительно. И публика вздрагивала, сбивалась с шага, размышляя. Ей и так надоело всюду опаздывать в этой огромной суетной Москве, а тут ее ласково предупреждают, желают добра, здесь угадывают ее слабое место, — нет, просто невозможно пройти равнодушно мимо. Люди останавливались, положив на влажный асфальтовый пол «авоськи», туго набитые апельсинами, и белые коробки с сапогами фирмы «ABC», искали в карманах мелочь.

В переходе под землей было светло и тепло, как в музее. На сей раз старик сидел, как всегда, в окружении торопливо раскошеляющихся прохожих, и Полякову сделалось радостно, он почувствовал себя юнцом в свои без малого сорок лет, почти школьником, у которого все ладится, сбываются все желания. Лица встречных казались ему добрыми и приветливыми, как лица хороших знакомых, ему чудилось, что все эти люди догадывались, куда он едет, и напутствовали его взглядами, в которых он читал внимание и заботу...

\* \* \*

Герман Алексеевич ни разу еще не бывал в санаториях. В отпуск он обычно ездил по туристической путевке за рубеж или скучал на даче в Серебряном бору, писал, заботливо опекаемый матерью и отчимом. А тут вдруг врачи нашли не в порядке кислотность, посоветовали расстаться с сигаретами и поехать в санаторий, хотя бы один раз, в этом году, а там видно будет.

Просто есть и дышать воздухом он еще не умел, не был приспособлен к тому. Поэтому портфель, с которым он появился в санатории в то солнечное морозное утро, был наполовину начинен работой — незавершенными статьями, наброском предисловия к книге приятеля и еще какой-то «писаниной», как он сам говорил в редкие минуты раздражения. Приехав, разместившись в палате и узнав о правилах внутреннего распорядка, он тут же уселся в холле за небольшой стол, разложив на нем, к тихому неудовольствию любителей домино, свои бумаги.

Но работалось день ото дня все хуже. Надо было все время выполнять какие-то режимные предписания — в определенные часы есть, бывать на приемах у врачей, принимать абсолютно ненужные процедуры. К вечеру голова его мало что соображала, и ничего не оставалось, как подниматься на третий этаж в клуб, смотреть очередной индийский фильм.

Он был дружен с соседом в палате, но в остальном вел уединенный образ жизни, ни с кем не знакомясь. Женщин он избегал, боясь стать предметом сплетен и потерять свободу, т. е. возможность заниматься своими делами. Да, честно признаться, если бы он и захотел ее потерять, это для него было бы непросто — не был он мастером на знакомства. У него это получалось плохо даже тогда, когда женщины

сами проявляли к нему какое-то подобие интереса. Во всяком случае, дома, в Москве, он мог бы попытаться, мог бы позволить себе нечто такое, но здесь, в санатории, это исключалось совершенно — он еще надеялся поработать и потом был слишком горд, чтобы выглядеть типичным санаторным ловеласом. Нет, он не хотел быть как все или как многие в его положении, хотя понимал, что этим он отнюдь не умножает свои шансы найти настоящую подругу, о которой он мечтал, а может, и жену, и тем исправить то неверное, искаженное представление о браке, которое он получил, проживая семь лет с черствой и холодной женщиной, кандидатом наук, и с трудом разведясь с ней.

«Надо больше двигаться, раз работа не клеится», — решил он и для начала стал заниматься утренней гимнастикой.

Каждое утро в любую погоду в половине восьмого на веранде собиралось чудаковатое общество. С десятков жизнелюбивых старцев, из тех, что даже в клуб и столовую приходят в тренировочных костюмах из синего трикотажа, бабушки, увлекающиеся системой йогов, и постоянно меняющийся контингент молодежи — один-два парня, одна-две девушки. Молодежь любила поспать и часто вообще не появлялась.

Инструктор физкультуры, небольшого росточка энергичная женщина лет двадцати пяти в теплом спортивном трико, требовала от стариков невозможного — она показывала такие упражнения, какие поставили бы в тупик даже циркового акробата. На все возражения она отвечала одно: «а вы попробуйте...» Некоторые пробовали, вроде получалось. Остальные импровизировали на заданные темы, и выглядело это смешно.

Через неделю Герман Алексеевич почувствовал себя увереннее. И хотя от непривычных нагрузок налились мышцы рук и ног, ему уже удавались многие упражнения. Поляков попросил на спортбазе лыжи и теперь часто, забросив «писанину», бродил по лесу, наслаждаясь тишиной и очарованием зимних пейзажей Подмоскovie.

Иногда инструкторша устраивала коллективные походы на лыжах. Она была местной жительницей, знала все окрест и показала отдыхающим уйму интересного — церквушку восемнадцатого века, самодельные деревянные домики в лесу, сработанные пенсионерами — бывшими партизанами, большое поле у соснового бора, где в войну шло ожесточенное сражение артиллеристов с гитлеровскими танками: на опушке сохранились осевшие, словно игрушечные, засыпанные снегом окопы, ходы сообщения, укрытия для расчетов. Между деревьями угадывались одинаково неровные ямки, следы попадания снарядов. Поляков не раз потом приходил сюда один, на эту опушку, и все пытался представить себе картину того далекого боя — разговоры молодых солдат, видевших, как прет на них несканзанно чудовищная сила, быстрые действия расчетов, прерыви-

стые, усеченные слова команд, вспышки, грохот, чьи-то предсмертные вскрики, уже не высказанные мысли, последние минуты, последние взгляды в небо, затянутое дымом, в пожелтевшие кроны сосен... Впрочем, крон никаких не было. Теперешние деревья были тогда жидким подростком, который, к сожалению, плохо маскировал наших бойцов.

...С того дня Поляков незаметно превратился в активиста спортивной жизни санатория — первым приходил на веранду и возглавлял цепочку бодрых старичков, помогал ставить крепления на новые лыжи, заливать каток на месте старого теннисного корта...

Во время занятий гимнастикой он стоял отныне напротив инструкторши — так выходило по построению — и, сам того не желая, всматривался в нее. Она была правильно сложена, но на редкость маленькая, прямо подросток. Голова ее наверху венчалась пышным сплетением тонких и мягких на вид рыжеватых волос. Лицо ее было типично деревенским — в этой постоянной румяности, в изгибах рта, приоткрывавшего, когда она смеялась, не только зубы, но и ярко-розовые десны, в очертании широких скул и острого подбородка. И имя ее очень ей подходило — Зина, а фамилия была Сонкина.

Правда, смеялась она редко, и только в кругу своих подружек по работе, когда, надев такой же белый халат, превращалась в обыкновенную медсестру. Зина была строга, подчас даже резковата, подчеркнуто деловита, не отвечала на шуточки, отпускаемые острьяками из новичков, а кое-кого так одергивала, что тут же отбивала охоту говорить сальности. Наверное, думалось ему, это единственный вид обороны такой пигалицы от игривых настроений богатырей с шахтерскими плечами. Поляков слышал десятки анекдотов про санаторных культурниц и медсестер, но теперь понимал, как все это глупо. Эти женщины несчастнее любой настоящей ветреницы из отдыхающих, они на виду у десятков людей, и стоит только шаг сделать за рамки санаторной программы, как общественная служба наблюдения тут же отметит это и...

И все же последние дни он не мог отвязаться от подозрения, что Зина, при всей ее строгости, как-то выделяет его, Полякова, — незаметно так, неброско, но именно отличает от остальных. Наверное, все дело в его активности, в увлечении спортом. «Она себе цену знает», — думал Герман Алексеевич, наблюдая, как Зина держится с молодыми отдыхающими, своими сверстниками. Но почему она с ним ведет себя несколько по-иному, откровеннее, что ли? Что он ей — тридцативосьмилетний лысеющий щелкопер и скептик, когда кругом так много молодежи, свободной от сомнений, энергичной и волевой, у которой впереди больше времени и, значит, большее будущее? Впрочем, ему могло все это просто показаться, фантазии у него на двоих хватит. Как бы там ни было, а в присутствии Зины, такой



задорной, полной сил, несмотря на строгость, неистощимой на выдумки, ему самому хотелось быть как-то ловчее, выглядеть необычно, изящнее, он молодел лет на десять с гаком, старался не отстать от молодых, не замешкаться со словом, не пропустить вперед себя других, и сам порой изумлялся, замечая это в себе. «Вот что значит отдых в санатории, а не прыжки с чемоданом по отелям или уединение со старичками на тихой даче», — думал он удовлетворенно.

...В то утро вместе с тучами пришла оттепель. С крыш закапало, снег осел и дышал паром. Все-таки собралась компания на лыжах. Пришли две старушки в пронзительно-ярких, как огни светофора, лыжных ансамблях, еще какая-то женщина из второго корпуса с нездорового цвета лицом, огромный молчаливый лесоруб из Карелии и Поляков. Герман Алексеевич пошел потому, что этот отряд потащила за собой как всегда бодрая, неунывающая Зиночка. Но что погнало из дому остальных — непонятно, воздух был сырой и тяжелый, снег налипал на лыжи, и их приходилось переставлять, как ходули, а о скальжении и речи не могло быть.

Перейдя через шоссе, компания черепашьям темпом, со стонами и смехом ползла к лесу. Первыми протрубили отбой бабушки-спортсменки, шедшие последними. Едва отойдя от дороги, они повернули назад. Лесоруб, почему-то никогда до этого не стоявший на лыжах, тоже исчез куда-то, отстал незаметно, потом сдалась и бледнолицая лыжница из второго корпуса. Уходя, она с сожалением взглянула на Полякова.

Зиночка и не думала поворачивать назад. Она шла по ослепительно-белой целине рядом с Поляковым, явно стараясь обойти его. Он принял вызов и, как ни тяжело было вытаскивать обросшие, облипшие лыжи, старался не отставать, поглядывал на покрасневшие щеки Зиночки, на выбившиеся из-под шапочки волосы: «вот упрямая; маленькая, а такая заводная; да ведь если захочу, обгону в два счета...» Сознание, что он сильнее, что может запросто оставить позади, наполняло его легкой радостью и в то же время нежностью к Зиночке...

Зайдя в лес мимо невысоких сосенок и берез, они решили тут же, на окраине, устроить привал. Обоих утомила гонка по полю, надо было отдышаться.

Прислонив лыжи к сосне, на минутку прислушались. Невдалеке протяжно прогудела электричка. Сигнал оборвался, и казалось, что все замерло, воцарилась невозмутимая тишь. Но деревья снова ожили, они издавали какие-то звуки, еле заметно покачивая верхушками. Лес шелестел, словно то и дело вздыхал. Это капли, срываясь с оледенелых ветвей, чуть слышно шипели, уходя в мокрый снег.

Они были впервые вдвоем, одни, и пока не могли еще вести себя естественно, просто. Зина занялась прической, а он принялся счищать снег с ее лыж.

— Давайте разведем костер,— предложила она.

«Костер? Зачем? Ах, да, конечно, а что еще делать здесь, если не костер жесть...»

— Но... у меня нет спичек, я некурящий,— спохватился Поляков, жалея, что оказался таким непредусмотрительным. Голос его вдруг стал звонким, молодым, даже самому удивительно.

— А я захватила..,— она начала поспешно выковыривать из узкого кармашка куртки коробок, словно он был нестерпимо горячим.

Он таскал хворост, мокрые сучья, обрывал у подножия стволов обнажившуюся рыжую траву, а она складывала все это домиком и без умолку говорила, говорила, словно, как и он, боялась, что может наступить пауза, тишина — ненужная сейчас, нежелательная... Он узнал, что она живет в большой семье без отца и матери, зато у нее братьев и сестер — целых семь человек... Что дом их стоит неподалеку отсюда, в Месяцево. Потом она сказала, что очень любит лыжи и часто ходит с двумя старшими братьями на прогулки...

Поляков в шутку заметил, не удержался от банальности, что, мол, не только братья сопровождают ее, наверное, в лыжных походах. Когда-нибудь и вечно занятый делами муж или... Она перебила, сказав, что мужа нет. И вообще она ходит на лыжах только с братьями. Нет, не из принципа, просто нет подходящей компании, одной же скучно... Герман Алексеевич хотел еще что-то вернуть задиристое, но передумал. В конце концов, какое ему дело до этого.

Зиночка, бросив куртку на снег, стояла на коленях и изо всех сил дула вовнутрь сложенного из веток шалашика, где красной точкой светился единственный тлеющий уголек. На секунду-другую над конусом из прутьев взвивался дымок и тут же исчезал, разъедаемый сыростью.

Поляков пристроился рядом.

— Давайте-ка, я попробую... — Он тоже принялся раздувать огонь, положив на уголек кусочки бересты и листки из записной книжки — другой бумаги не было. Пламя будто бы ожило, дотронулось до верхних веточек, и они затрещали в ответ выстрелами из крохотных пистолетов, зашипели по-змеиному...

Скоро ему это надоело, а Зиночка, заметив, еще яростнее продолжала дуть... Она старалась во что бы то ни стало сохранить огонек костра. Сейчас, без куртки, в одном свитере, с еле державшейся на макушке шапочкой, она была похожа на тоненькую девочку, сдававшую какой-то ответственный экзамен и потому очень волновавшуюся. Полякову было близко ее лицо — оно все пылало, то ли от костра, то ли румянец так разыгрался — остались белыми лишь нос, да глазницы, да еще заостренный подбородок. Серые большие глаза влажно блестели, они заклинающе смотрели на костер, который никак не хотел разгораться...

Девушка так усердствовала, а ее испуг и отчаяние были столь

заметны, она украдкой так беспокойно взглядывала на Полякова, что тот стал смутно осознавать что-то пока еще далекое и не совсем ясное, но уже волнующее, приводящее в беспорядок мысли от ежесекундно ощущаемого приближения счастья... «Да откуда этому взяться?» — удивился он про себя, но тут же забыл обо всем. Он угадывал совсем рядом ее раскрасневшееся лицо с пышными стрелками бровей, золотистые волосы, затеняющие тонкую, почти детскую шею... Когда она, вытянув руки, поправляла верхние веточки, свитер еще плотнее облегал ее грудь, не оставляя ни единой морщинки... Он впервые увидел в ней женщину, и она, вероятно, почувствовала это. Поляков испугался собственных мыслей, но в ту же секунду какой-то бесшепнул ему: не отступай! — и он, пока еще скорее от желания подражать кому-то, быть как все, от готовности являться проще, чем он есть, и в то же время повинувшись тому, что было сильнее его, замирая, как мальчишка, от страха, положил ей руку на плечо. «Что я делаю?! Что она теперь обо мне думает!»

Но летели в вечность секунды, а Зиночка все так же стояла на коленях, глядя на погасший совсем костер и ничего не предпринимая для его возрождения.

Ощущение, что он падает в какую-то пропасть, у Полякова не исчезло, но вместе с тем пришло необъяснимое облегчение, словно сняли с него тяжелую ношу, что давила уже многие годы. Это опьянение, внезапная легкость совсем завладели им. Рука с плеча девушки скользнула к шее, он гладил ее волосы, но вдруг она в упор посмотрела на него, и в глазах ее он обнаружил то же, что переживал сам: изумление случившимся и полное доверие друг другу... Их лица сближались, он уже видел ее полураскрытый рот, пунцовые губы, он забыл, что еще час назад называл ее пигалицей, он желал их...

Вдруг она нагнулась и выскользнула из-под его руки.

— А мы... думали, что вы потерялись... — поправляя шапочку, сказала Зина кому-то за его спиной. Поляков обернулся и увидел лесоруба, выходявшего на них из чащи. — Герман Алексеевич, ну, отдохнули и хватит. Давайте лыжи, пора домой, а то на обед опоздаете...

Поляков не сразу понял, что она обращалась к нему. Машинально подал ей лыжи, машинально пристегнул свои. По дороге в санаторий Зина ушла вперед с лесорубом, оживленно о чем-то с ним говорила. Тот похохатывал, старался быть к ней поближе, дотронуться невзначай. Если б не Поляков, шедший в отдалении сзади, он бы облапил ее, даже предвидя отпор, пощечину... «Ясно, как божий день, — вдруг озлился Герман Алексеевич. — Это у нее поставлено неплохо. Лыжи в плохую погоду, уединение, костерчик... Какой я по счету там?» Он нервничал, зная, что не прав, точно не прав, но не мог пересилить себя...

Последующие дни Зина была само спокойствие, словно ничего не произошло, и это взвинтило его еще больше. Поляков места не находил, уничтожал себя — зачем, ну зачем он подался минутному стремлению? Зачем показал свою слабость этой фитюлке с лицом деревенской мадонны, которая бог знает теперь что о нем думает! Расписался, что он обычный хлюст, такой же, как все курортные «наф-нафчики» — не успели остаться вдвоем, как распустил руки...

Он перестал появляться на гимнастике, но потом передумал — при чем здесь это! Только теперь он приходил попозже, чтобы не стоять возле нее, не встретиться взглядом. «Дура, кокетка, — шептал он про себя, украдкой глядя на нее издали. — Сельская Дульциня. И имя дурацкое: Зинаида. «Я люблю вас, я люблю вас, Зинаида», — пропел он на мотив из «Онегина» и отметил, что ему не смешно. — А говорит-то: пэсма-а-атрите, как это де-е-елается».

Он поражался, сколько в нем обнаружилось злости — как в желчном слюнике.

Однажды Зина подошла к нему и стала смотреть, как он выполняет трудный элемент упражнения. Он покраснел, но, к счастью, никто не видел этого. Старался делать как можно лучше, а сам на лице изображал ледяное равнодушие. Это ему плохо удавалось, и он взглянул на нее — а как она? Вместо иронии он увидел напряженное ожидание, тревогу.

Это все перевернуло в нем. Не удержавшись, он послал ей глазами смешливый лучик, тайный знак двух посвященных, и тут же поймал его обратно в ее сузившихся зрачках.

— Вот сейчас правильно, — сказала она, а он перевел по-своему: «Вот так-то лучше, и дуться нечего, вы сами должны понимать мое состояние и мое положение».

Весь этот день он чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Отныне он опять первым заявлялся на веранду, возглавлял колонну почтенных гимнастов. Он стоял перед Зиной и любовался ее грациозными движениями. Тихая благодарная радость накатывалась на него, когда он думал, что эта миловидная девушка выбрала его, только его. Но наряду с этим какое-то раздражение временами просекало его — зачем она тут перед всеми ломается, почему она физинструктор, а не лаборантка какая-нибудь? Объясняет упражнения, а потом показывает все сама — «вот так, так и вот так». Она была гибкой, как прутки. «Ну, для чего так стараться? — с досадой думал Герман Алексеевич. — Объяснила бы на словах, и все. Не обязательно так нагибаться».

К сожалению, ему предстояло скоро выписываться. В день отъезда утром он выбрал момент и незамеченным прошел в кабинет физкультуры. Зина готовилась к занятиям, разогревалась у шведской

стенки, но, когда он появился, застеснялась, села за стол, листая журнал посещений. «Вот-вот сюда придут взвешиваться», — вспомнил он и начал быстро, сбиваясь, говорить про то, как хорошо кататься на лыжах в Подрезково, где они часто собираются небольшой компанией в домике молодого кандидата наук, кстати, одинокого... («почему «кстати», идиот?»). И что если она хочет, он может как-нибудь взять ее туда с собой, познакомить — вот только как ее предупредить...

Зина назвала номер телефона, здесь, в санатории. В любой день, кроме воскресенья. А дома? Дома телефона нет, — засмеялась она, и он представил себе избушку на краю леса, почмокивание кабанчика в загоне, вздохи коровы, петуха с курами на насесте, ржаные лепешки, пахнущие дымком русской печи, — и тоже развеселился. Он никогда еще не звонил дальше Бескудниково или проспекта Вернадского.

По дороге в Москву, сидя в полупустом замызганном автобусе, он вдруг ясно понял, что никаких компаний на первых порах он ей не покажет. Сначала надо разобраться самому. «А она хорошая, что ни говори», — неожиданно еще раз порадовался он. Нет, у них все еще только начинается, все впереди. Кто знает, возможно, эта встреча решающая в его жизни. Наверняка Зиночка узнала, что он не женат. Ну и пусть. Что в этом зазорного? Все, все может быть, если они подойдут друг другу. Ведь это счастье ему, старому дураку, привалило, что на него обратила внимание такая молодая, такая милая... Ведь неженатых пруд пруди, да и вообще за нею, наверное, гонялся не один соискатель, за такойстройной и обаятельной. Просто странно, как он сразу не обратил на нее внимания. Пусть маленькая, но незаметной, невидной ее не назовешь. «Все, все может быть», — повторял он, и на сердце его было томительно-тревожно от предощущения каких-то важных перемен.

Правда, ему и прежде раз или два казалось, что он близок к переменам. Однако ничего не произошло. Женщины, с которыми он долгое время был дружен, порой сами заводили разговор о возможной свадьбе. Он не решался, тянул, а они, устав ждать, как-то устраивали свою жизнь... Иногда он узнавал об этом до обидного поздно, все еще находясь в приятных мечтах о красивой семейной жизни своей, гармоничной и безмятежной, все еще обсуждая с друзьями детали предстоящих торжеств...

Но здесь, с Зиночкой, — здесь что-то иное, он чувствовал это. «Посмотрим, посмотрим», — твердил он, глядя в окно, как приближаются, растут розовые корпуса домов-гигантов на окраине города...

\* \* \*

После возвращения в Москву, несмотря на захлестнувшую его волну всевозможных хлопот и неотложных дел — пока ты в отпуске, они накапливаются с удвоенной быстротой, — на кипы рукописей,

ждавшие срочного его отзыва, в последние субботы января он дважды собирался позвонить Зиначке, но погода, как нарочно, надолго испортилась, снова потеплело, временами валил мокрый снег, и он подумал, что звонить именно сейчас значило бы чересчур обнажить свою заинтересованность — ведь трудно было бы иначе расценить его звонок. А он не хотел выглядеть торопливым и глупым, не мальчишка же, в конце концов.

В следующую затем субботу, в феврале, он был слегка простужен, и прогулка на лыжах исключалась, а звонить просто так он не решился — незачем отрывать ее от дел.

Что-то еще его расхолаживало. Он вдруг задумался о ее семье. Ведь если они поженятся, то в его квартиру, чего доброго, зачастят ее многочисленные братцы и сестрички, будут «шлендать», как говорит уборщица тетя Варя, каждый вечер в гости, самим уже никуда не сходить. Поляков вообразил, как Зинина родня спит вповалку в его квартире — кто на раскладушках, кто в кухне на полу... — и поежился. И вообще, когда они с ней начнут выходить, наносить визиты — пойдут вопросы, за спиной начнут шептаться: не нашел, мол, в Москве, будто невест мало... Нет, сперва он должен сам для себя решить, чего он ждет от этого знакомства, а потом уже предпринимать что-либо.

Через день он уже думал иначе. «А, черт с ними, с ее братьями. Важно, что она мне нравится, и все. Напрасно не звонил, конечно, но делать нечего. Позвоню при первом же случае. Я не могу без нее, я чувствую — это то, что мне надо. Ученой, во всяком случае, ей быть не обязательно. Хватит с меня ученых...»

Он уже видел ее у себя, в своей унылой запыленной квартире на Пушкинской, видел, как она преображает его жизнь. Почему-то ни с кем прежде у него не ассоциировался так прочно облик его квартиры будущего, как с этой узкоплечей гибкой девушкой с милым скуластым лицом.

Поляков представлял ее сидящей по утрам вот тут, нет — вот там, за комодом, — в халатике, болтающей с подружкой по телефону: волосы распущены, нога закинута за ногу. «Нет, нет, сегодня муж тащит меня в зал Чайковского, и мы не сможем заглянуть к вам...» А с кухни доносится запах кофе, его любимых поджаренных хлебцев — это она уже успела похозяйничать. Ах, черт возьми!

Довольно, пора рассеять это заблуждение, что он не из тех, кто сам выбирает жену. Действительно, когда-то его отыскивали в геологической экспедиции — молодого желторотого птенца... С тех пор он поумнел.

В очередную субботу позвонить Зине не пришлось: у мамы случился сердечный приступ, и отчим просил приехать к ним, помочь с лекарствами, сходить в магазин. Правда, Герман Алексеевич мог бы позвонить затем в любой день недели и условиться о встрече в воскресенье, но, как назло, накануне опять выпала срочная работа,

всю неделю он поздно попадал домой, а из отдела звонить было неудобно.

Постепенно у него возникла уверенность, что время его звонка не играет решающей роли, раз уж он не позвонил сразу же. Это даже укрепит их союз в будущем — вот это отсутствие в его действиях излишней поспешности, то есть зависимого, подчиненного положения. Не встретятся зимой — не беда, увидятся позже, весной.

Незаметно пролетел февраль — в беготне по рекомендациям, по журналам, в утомительном слушании бесчисленных защит и ежевечернем чтении чужих статей и рефератов. Накануне восьмого марта (это было во вторник) он снял трубку, «ей будет приятно именно в такой день», набрал номер, но когда тонкий девичий голос на коммутаторе ответил «Третий!» — он надавил на рычаг. Конечно, ведь ее надо пригласить куда-нибудь, в театр или на концерт. А куда? Билетов сейчас не достанешь. А главное — ее придется потом провожать, возвращаться поздно ночью домой на электричке... Это хлопотно. Ведь он давно уже не ходит с женщинами даже в кино, именно чтобы не провожать, и все это знали. С какой стати здесь он будет прыгать выше своего роста? Нет, не будет, это отпадает.

...Весна прибавила дел еще, подвернулась командировка в Поволжье, потом в Сибирь. И всюду Поляков носил с собой уже точно выработанный план: как только он приезжает в Москву, он звонит Зине, они встретятся, и он все объяснит, скажет, что лыжи в конечном счете были бы скорее предлогом, что он давно собирался предложить ей дружбу...

Не позвонил он ни в день приезда, ни позже. Каждый раз он откладывал звонок на неделю, успокаивал себя мыслью, что эти семь дней ничего не значат в сравнении с тем, не поддающимся измерению временем, которое у них в запасе. Летом он часто думал о Зине, вспоминал тот сырой зимний день и их неудачный костер. Воспоминания приходили неожиданно, порой в неподходящий момент — на заседаниях Ученого совета или при чтении реферата. Но странно — чем больше отдалялся этот день, тем все более притягательным и сложным становился облик Зиночки, тем полнее значительного смысла казалось ему происшедшее с ним тогда. Фантазия развешивала перед ним уже такие красочные видения, в которых грани реального, возможного расплывались от соседства с невообразимой фантазмагорией, где Зиночка представляла сказочной, оборотливой Снегурочкой, а он — молодым и прекрасным Лелем...

Эти видения обычно заканчивались возвращением на землю, сопровождаемым вздохами и самобичеванием. «Ну, что ж, — не сдавался он. — В крайнем случае, дождусь зимы, первого снега, и снова махну в тот же санаторий... Не испарится же она. А для меня это все крайне важно. Это мой шанс...»

Наконец — это было в сентябре — закончив работу над статьей

о полимерах, которая отнимала у него все свободное время, даже сон, он в один из дней вдруг как-то особенно остро ощутил, что одинок. В субботу он позвонил знакомым, мужу и жене, и спросил, не собираются ли они прокатиться за город на своем новеньком комби «Жигули», а заодно и его прихватить. Его предложение было принято. Он еще не совсем ясно сознавал, чего хочет, но почему-то настоял, чтобы поехали по Тульскому шоссе. По дороге он механически взглянул на часы — ровно три. В санатории в это время тихий час.

Перед одним из поворотов, не доезжая с километр, он вдруг попросил остановиться и сказал, что через полчаса он их встретит у следующей развилки, там есть небольшой придорожный ресторанчик, они увидят. Подождав, пока машина отъехала на приличное расстояние, он пошел к санаторию.

Хорошо, что они ни о чем не спросили. Если Зина на работе, это будет сюрпризом для нее. Это разом искупит все,— думал он, завидев кирпичное здание санатория и прибавляя шагу. А потом они вчетвером устроятся в том уютном ресторанчике, и, может быть, там он и скажет Зиночке самое главное...

— Нет, она у нас давно не работает,— будто обрадованно сказала ему гардеробщица первого корпуса, пожилая незнакомая женщина, видимо, новенькая.— Да еще весной уехала на какую-то стройку, в Сибирь, что ли. Братья ее туда подались, вот и она с ними. Одной-то чего делать, без семьи, без мужа...— Что-то в лице гардеробщицы сказало ему, что она не так уж непонятлива, как с виду.— До отъезда забегала, все интересовалась, как дела в санатории. Привыкла ведь...

— А больше... ничего не говорила? Ни о чем не спрашивала?

— Нет, еще спрашивала, не звонил ли ей кто. Да никто не звонил, это уж точно. Телефон-то у нас с ней общий, а мы здесь при вешалке постоянно...

Сидя в машине, он, занятый разговором с другом и его женой, еще не до конца сознавал, что произошло, что изменилось за этот день. Болтовня о том, о сем отвлекала его, не давала сосредоточиться, а сам он тут же переводил на другое, как только жена товарища пыталась закинуть удочку насчет странного выхода его из машины. Пошел сильный дождь, и у него прибавилось еще занятий — не прерывая разговора, силялся разглядеть места, где ехали...

Недалеко от центра он почувствовал, что устал от этой игры в прятки, от ненужных слов, и попросил высадить его — прямо здесь, в косые нити дождя. Лучше бы он не делал этого.

Оказавшись в одиночестве, среди потоков воды и бегущих по своим делам людей, обгоняемый парочками с зонтами и в плащах, он отчетливо понял, что ему все равно — дождь или солнце, ему некуда спешить, и не потому, что в данный момент его никто не ждет, а оттого, что не было теперь главной цели, призрачной надежды, нет того красивого сновидения, которым он жил наяву все эти месяцы. Дождь



и ветер как бы подытоживали случившееся, окончательно возвращали его в явь, в реальность. Облик Зиночки стал для него такой же абстракцией, как какой-нибудь снимок в журнале, как любое женское лицо на рекламной обертке — мило, но неживо, недосыгаемо.

«Нет, это невозможно!» Ему стало нехорошо, закружилась голова, и он прислонился к стене, постоял немного. «И не подумаешь, с виду приличный...» — Это о нем, приняли за пьяницу. Все равно. Ему теперь все равно. Его обманули. Так красиво было все продумано, до мелочей, он так готовился — и вдруг все покатилося к чертям в одну минуту. Теперь ему, как опрометчивому пловцу, надо начинать все сначала. Хватит ли мужества...

Он снова шел тем же подземным тоннелем, что и всегда, что и в то морозное утро почти год назад. Люди отрясали плащи и зонты, они были все так же веселы и беззаботны, но сейчас это не казалось Полякову приятным, наоборот — они вроде посмеиваются над ним, неудачником, промокшим до нитки. Его старик, в черной блестящей накидке и в кепке, все так же уговаривал «не опаздывать»:

— Берите билеты, граждане... Скоро тираж.

Это создавало иллюзию, что ничего не изменилось, но Полякову не стало легче... Но одновременно, как ни странно, он словно бы чувствовал, что в его жизни что-то упростилось, устроилось... «Может, и к лучшему, что так все получилось... Не знаю».

Дождь загнал сюда цветочниц с улицы. Расположившись возле газетного киоска, закрытого в этот час, со своими корзинами, молоденькие девчонки отряхивались, прихорашивались, подбадривая друг дружку, протягивали идущим мимо осенние последние в этом году цветы — гладиолусы, астры, гвоздику, хризантемы...

Поляков шел, задумавшись, внутри его была разлита пустота. Но в голове наконец улеглось какое-то смятение, воцарилась тишина. И вдруг ему показалось, нет — он явственно услышал, как кто-то сзади, посреди этой гулкой тишины, отчетливо сказал:

«Берите астры, граждане. Не опаздывайте — скоро зима».

Он оглянулся. Никого подозрительного, кто бы мог такое сказать. Тогда он понял, что просто в голове у него складывалась такая фраза. Он пошел быстрее. Но голос все повторял и повторял, и он не мог никак заглушить его в себе. «Не опаздывайте, скоро зима», — запомнилось ему. Чудно... Как будто это имеет к нему какое-то отношение.

«Скоро зима...»

## ЗАКАЗ ДЛЯ ПАВЛИКА

В небольшой, почти дамский, чемоданчик, оклеенный синим дерматином, входило на удивление много — кисти, свинцовые тубики с краской, флакон скипидара, льняное масло, кусок мела, две-три чистые тряпки да еще книжка. Когда-то давно, еще до войны, в этом чемоданчике мать привозила Павлику гостинцы в пионерский лагерь — печенье, липкую карамельку, иногда колбасу, а теперь в нем

хранился его рабочий инструмент. Эти кисти и краски кормили и его, и мать, и младшую сестренку.

Чемоданчик этот волшебный отзывался то буханками хлеба на столе, то картошкой, а то и пальцем для Лильки, купленным на дешевой распродаже в одной из рыночных палаток. Приработки Павлика были главным средством, помогавшим маленькому семейному кораблику Старцевых, плывущему давно уже без капитана по капризному океану жизни, обходить стороной очень большие мели и рифы.

Карточки отменили давно, но жить сразу легче не стало; в семье вечно не хватало денег. Мать часто болела, работала урывками, Лилька еще зубрила физику Перышкина в шестом, а пенсия за отца была небольшая — Павлик считался кормильцем.

Подрабатывать он начал еще в школе. Разлиновывал суриком классные доски — в «две косых», для малышей. Писал праздничные лозунги — у него хорошо выходил шрифт. Брался расписывать декорации и задники для нехитрых школьных сцен. Тут уже платили мало — получалось не так хорошо. Как-то раз помог оформлять выставку на стадионе. Но снова неудача: бригадой руководил и получал на всех деньги запойный пьяница, бывший студент Вхутемаса. Павлику, который был всех моложе, он поручал самую трудную и невыгодную часть заказа, а при расчетах удерживал с него, клянясь и божась, что обязан угощать кого-то из начальства стадиона.

Подвертывались и другие работы, когда Павлик поступил в вечерний институт, но все это денег приносило немного, да и осточертела обезличка в этих несерьезных бригадах, к тому же как-то всегда так получалось, что работали двое-трое, а заработок делили на пятерых. А в свои неполные двадцать Старцев чувствовал силу и сноровку, и было в нем еще что-то такое, чему завидовал и чего боялся даже прощельга-вхутемасовец в свои редкие минуты просветления. Павлик и сам видел, что ему удается то, чего не могут схватить другие в бригаде, он жаждал серьезного, творчески трудного и был уверен, что справился бы с большим делом, требующим зрелого мастерства и опыта: он мечтал о солидном индивидуальном заказе.

Но жизнь шла вперед, подходящего случая все как-то не выходило, и Павлик было подумывал, не закинуть ли ему чемоданчик в сенной чулан и не устроиться ли в какой-нибудь детский сад сторожем. Там все-таки питание, а в нем будет больше оставаться...

Однажды ему повезло.

Бог счастья и удачи явился перед ним в виде издерганного человека по фамилии Ключев, оказавшегося членом месткома большого завода. Их свел общий знакомый, совершенно случайно.

Свидание в сквере длилось не больше пяти минут. Ключев ценил время и был краток. Заводскому пионерлагерю нужно обновить оформление. Требуются десять сюжетов на темы басен Крылова и портрет известного писателя, классика, — таких было много во всех школах и лагерях. Материал завода — фанера, масляные краски.

Срок — месяц. Условия художника?

Павлик мялся.

Клюев понял и сам назвал сумму. Павлик решил, что Клюев — псих и завтра попросит свои слова обратно. Но ничего не сказал, только кивнул: согласен, мол.

Договорились на следующее утро встретиться у проходной. Протянув на прощанье теплую мясистую ладонь, которую Павлик еле успел пожать, Клюев тотчас побежал куда-то.

Ночью Павлик долго не мог заснуть. Вспомнились почему-то девочки из женской школы, где он с благословения гороно пытался преподавать рисование — учителей не хватало. Этих девочек он запомнил на всю жизнь. Они открыто презирали его, такого юного, такого ровесника им, подкидывали на занятиях вопросы-издевочки («Павел Владимирович, а вы сами сколько уже картин нарисовали?»). Рослые дылды на уроках свободно разгуливали по классу, не обращая на Павлика ни малейшего внимания. Учиться эти злобные прыщавые существа, не расстававшиеся с зеркальцами и помадой, не жалели («моя мама говорит, что это никому в жизни не нужно»), а завуч, поджарая старая дева, имевшая обыкновение неожиданно врываться на его уроки (вдруг, чего доброго, он объясняет наивным девочкам картину «Леда и лебедь»!), упорно игнорировала его оценки при выведении четвертных баллов...

Странно, что по крыше школьного здания не разгуливал пожарный — оно было самым высоким на этой городской окраине, овражистой и лысой, с чахлыми деревьями, мучавшимися от соседства никогда не чистившихся зловонных прудиков и болот. Из учительской на третьем этаже, куда ни кинь взгляд, было видно серое деревянное море одноэтажных домишек, по-родственному теснившихся один к другому. Летом в раскрытые окна учительской добавлялось к этой неизменной картине звуковое сопровождение — педсоветы проходили под хрюканье, визг несознательной молочной скотинки и крики маленьких свинопасов, свободных пока от всеобщего обучения.

Здесь разводили свиней на мясо и знали в этом толк. Не было ни одного дома, даже самого неказистого с виду, где не держали бы свинью с приплодом. И в будни, и по праздникам, и в пост, и в говенье на здешних столах всегда были свиные потроха, а то и само мясо, от избытка, — посоленное, жареное, отварное... Здесь признавали то, что давало выгоду. Тут умели трудиться от зари и до зари, но по воскресеньям развлечения, отдых, разрядка и смена впечатлений сходились в одном, священном и неизбывном — базаре. Не раз Павлик встречал на рынке своих «любимиц» — в нарукавниках, с ножами и безмерами, они очень старались походить на своих стоящих рядом матерей, опытных в торговых делах, бойких, не знающих промашки...

Однажды на каком-то уроке он чуть не сорвался, чуть не закричал: «Черт с ними, с перспективами и тенями, давайте рисовать разруб

свиной туши! Это вам пригодится в жизни!» Сейчас ему кажется, что сделает он так, никто из этих невестившихся дурочек не удивился бы, скорее вздохнули бы облегченно: наконец-то «наш... (как они его там называли?) за дело взялся...» Но тогда, спустя неделю-две, он просто решил про себя, что хватит с него, и ушел, даже не подав заявления...

Эти непрошенные воспоминания сейчас, на ночь глядя, совсем были некстати. Еще приснится свинья, а это плохая примета, если верить бабушке...

Спал он спокойно и крепко.

Утром в трамвае Павлик, захвативший с собой чемоданчик, разнервничался. Ему вдруг стало ясно, словно прозрение нашло, что напрасно он взялся за такое дело. Басни Крылова еще туда-сюда, но вот портрет... Целых три метра на четыре! Он еще никогда не писал в таких масштабах. И хотя все было заранее продумано и в кармане курточки лежала тщательно разбитая на клетки красочная открытка, которую надо просто увеличить на фанере в сотни раз, Павлик волновался сильнее, чем на вступительных экзаменах в институте... Но потом взял себя в руки. Деньги нужны... Шут с ним, с портретом, он начнет с Крылова, а уж потом возьмется за него. Как получится, так получится. В конце концов сам ведь мечтал о самостоятельной работе... Так что здесь, Родос, здесь прыгай...

Клюев буркнул что-то в знак приветствия (ага, жалеет, небось, что вчера у него вылетело насчет цены) и повел его в глубь двора мимо больших заколоченных ящиков с какими-то надписями.

Они подошли к заводским гаражам — высоким металлическим ангарам, тянувшимся вдоль всей задней стены двора. Каждый гараж был рассчитан на две грузовые машины. Въезд в один из них был обнесен высоким дощатым забором, в котором имелась небольшая дверь.

Войдя в эту дверь вслед за Клюевым, Павлик очутился в деревянном загончике, сколоченном прямо на асфальте. По углам валялись автомобильные рессоры, полуоси и колесные бандажки. В центре белой пирамидкой сложены свеженькие, недавно сбитые фанерные планшеты — явно для персонажей дедушки Крылова. Ворота гаража распахнуты (он был пустой), там высился поставленный на попá огромный, как показалось Павлику, щит из фанеры. Дождь ему, таким образом, не страшен.

Около щита стояла стремянка, рядом с ней — табуретка, на которой были свалены в кучу банки и тубы с краской. На полу валялась забытая кем-то ножовка.

Когда Клюев, записав в книжечку, что еще потребуется художнику — веревка или шпагат, немного бензинчику, — удалился, Павлик подошел поближе к щиту и увидел, что он уже вымазан голубоватыми белилами. Фанера была покрыта так скупно, что краска скопилась только вокруг сучков и в трещинках, оставляя почти нетронутой

рыжую поверхность листа.

И это они считают грунтовкой. Смех!.. То ли лодыри, то ли белил хапнули, а может, просто пожалели... Экономы... Плюшкины несчастные...

Павлик снял курточку, повесил на стремянку, засучил рукава ковбойки и, еще раз оглядев все вокруг, вздохнув, принялся за работу. «Глаза боятся — руки делают», — как говорит мать. Это точно. Главное — начало.

...Когда щит был наново покрыт белилами, он взялся за планшеты. Сперва соорудил из досок, валявшихся рядом, что-то среднее между мольбертом и козлами, чтобы было на чем крепить фанерные подрамники. Потом, оставив один на «мольберте», перетаскал остальные в гараж на случай непогоды, решив грунтовать попозже и все сразу.

В тот момент, когда Павлик начал карандашом набрасывать на фанере силуэт лисы, дверка в заборе приотворилась, и в нее просунулась чья-то голова и тут же скрылась. Павлик сделал для себя неприятное открытие: дверь не запиралась, а изнутри не имела даже ручки, так что сюда, в загончик, мог войти всякий, кто пожелает.

Гости не замешкались с визитом. Уже перед концом смены в загончик по-хозяйски неспешно заявились двое в замасленных телогрейках, зашли Павлику в тыл и, соблюдая максимум тишины и этикета, молча наблюдали за его действиями. Хоть они и молчали и стояли не очень близко, в отдалении, Павлик все равно нервничал, и оттого не все получалось быстро и хорошо. К счастью, время было уходить, и Павлик всем своим видом стал это показывать. Рабочие, переглянувшись, степенно удалились, не проронив ни слова.

Люди приходили и на следующий день и позже. Визиты бывали чаще всего в обеденный перерыв — от полудня до часу, но появлялись охотники поглазеть и в другое время. Пришли как-то два развеселых парня, смельчаки и балагуры, из тех, что имеют успех в компаниях. И хотя оба видели, что на дереве сидит натуральная ворона, затеяли разговор такой:

— Смотри-ка, орел сидит, вишь, клюв-то громадный какой!..

— Да ты что? Разве такие орлы бывают, это перепелка. Со страху залезла, вишь, под деревом-то собака караулит...

— Хи-хи!..

Павлик старался не обращать внимания. Пусть! Глазейте! Можете даже шуточки подпускать.

Теперь он и сам ни за что не попросит Ключева сделать защелку на двери — еще подумают, что он их боится. Ладно, потерпим.

Парни эти зачестили в загончик, словно дожидаясь, когда же, наконец, юный художник плюнет на все и убежит. «Не убегу», — зло говорил про себя Павлик. А ребята, будто слыша все это, старались вовсю, стали уже прокатываться насчет легких заработков в искусстве

(«один, понимаешь, вкалывает по уши в грязи с утра до ночи, а другие помазывают кисточкой и — пожалте, пишите сумму прописью...»).

Павлик с трудом сдерживался. Ему хотелось как можно злее, с руганью, понятной этим типам, выплеснуть все, что накопилось, — что все это к нему не имеет отношения, что они не знают, как тяжело ему добывать хлеб свой, как до сих пор ему стыдно, что под всеми предложениями избегал уроков физкультуры, потому что нечего было надеть, а кроме куртки, переделанной из шинели, и штопаных-перештопаных брюк с пузырями на коленках, у него ничего не было. Сказал бы, как невыносимо тяжело бывает смореть по утрам на бледную Лильку, давно уже выросшую из единственного своего платья, на что они с матерью, словно сговорившись, не обращали внимания...

Парни, похихикав, уходили, а Павлик, стараясь не думать об их болтовне, думал именно об этом. Обида и злость куда-то исчезали, оставляя после себя раздумья о жизни, о матери, которой было всегда нелегко, наверное, и при отце тоже. Только теперь, когда ему девятнадцать с хвостиком, до него стал доходить смысл предупредительных фраз, слышанных им в детстве, которые он поначалу усвоил как непреложные истины, мудрые правила жизни — яблоки вредны натощак, кисель едят с черным хлебом, вкуснее посыпать ломот хлеба сахарным песком, чем класть сахар в чай, умные люди носят обувь не кожаную, а парусиновую — не так потеет нога, а брюки перелицовывают... Нет, теперь он понимал, что это просто-напросто придумала бедность, которой они всю жизнь платили тяжкую дань и которую всеми силами старались скрыть...

Мысли Павлика невольно начинали виться вокруг денег, которые он должен получить за работу по трудовому соглашению. Он впервые видел трехзначную цифру на документе, прикидывал, что можно купить на эту кучу денег: туфли и платье сестренке, себе ботинки, а может, и костюм, маме пальто и платок. Он развеселился, размечтался, придумывал все новые и новые покупки, и все равно — это его больше всего удивляло и радовало — все равно оставалось еще страшно много...

Но как только он в мыслях обзирал всю работу — и то, что уже было сделано, и что предстояло совершить — он остро ощущал, что дело не только в деньгах. Нет, конечно, деньги очень нужны, иначе бы он и не взялся, но было в этом заказе что-то важнее денег, которые он сулил: вопрос чести, принципа. Главное еще было впереди — портрет. Пока он, легко, играючи (сколько их уже было!) справлялся с крыловскими мартышками, воронами и поварами — его могли бы прервать в любую минуту, сказать, что больше это никому не нужно, расстаться с ним и попрощаться — он не обиделся бы, воспринял как должное, тут он работал за деньги и ради них. Тут он мог позволить себе не очень строго придерживаться оригиналов, даже схалтурить где-то — кто спросит!

А с портретом — другое, тут проверка по-настоящему, потому что такое сможет не всякий, да и где же проверяются способности мастера, если не на этих портретах, если не в этой теме. Это было признано официально, как примета совершенства, как право считается специалистом своего дела. Он знал одно твердо: если справится с заданием, не только сам окончательно поверит в себя, в свои возможности, но и другие должны поверить — поручкой будет этот портрет. И тогда, кто знает, может, со временем он подаст документы в Строгановское... Но это — потом, потом... Но ведь портрет-то не оригинальный, ты же только копируешь с готового. Но нет, он не считал это ремесленничеством, во-первых, он еще только начинает и у него все впереди, а потом — разве даже известные художники не копируют самих себя? Сколько хочешь! И наконец вряд ли кто обвинять его вздумает — ведь в таком копировании тоже нужен талант, а кто поручится, что, набив руку на десяти, сотне таких портретов, он не в состоянии будет и сам написать этого человека? Никто! И уж если на то пошло — что он, этот писатель и государственный деятель, занятый важными делами, всем им позировал, что ли, — этим многочисленным художникам? Черта с два! Тоже, как миленькие, брали фотографии и дорисовывали фон по своему усмотрению. «Домысливали», кажется, так говорят... Да в конце концов, если честно, — ему, Павлику, сейчас гораздо важнее, как он справится с таким форматом, чем то, что он будет рисовать... Хотя именно последнее было столь величественно и важно, что ответственность за качество исполнения, независимо от объема изображения, неизмеримо росла, делая все предыдущие заботы мелкими и ничтожными...

В один из первых же дней в загончик пришел сторож Михеич, с ним у Павлика как-то сразу установились нормальные дипломатические отношения. Михеич был хорош тем, что не глазел, тупо уставившись, как остальные, на подрамники, а делал это исподволь, незаметно для художника. И молчал, если же и говорил, то только на отвлеченные темы. Обычно он сидел на ящике, дымил самокруткой, почитывал газетку и, казалось, вовсе не интересовался Павликом и его работой. Юноша был благодарен этому старому инвалиду с лицом Льва Толстого, только с не очень уж густой бородой — за его природную чуткость, а также за то, что тот, по-видимому, тоже недолюбливал наведывающихся «критиков», и они это чувствовали, не были по-обычному бойки и языкасты в его присутствии.

Приходили преимущественно одни и те же, наверно, уже по привычке — удостовериться, что работа движется как заведенный механизм, конвейер, а может, нравилось присутствовать ежедневно при «проявлении» предметов (сегодня у волка пока две лапы, завтра появляются остальные две).

Среди посетителей выделялся разве что один человек — Дмитрий,

шофер, не очень пожилой, около пятидесяти на вид, сильный мужчина с хорошо развитой мускулатурой, распивавшей старенькую выцветшую футболку, которую он предпочитал, видимо, всем остальным нарядам. Этот Дмитрий, как понял Павлик из разговоров, имел какое-то отношение к пионерскому лагерю и иногда, взяв на себя роль своего рода экскурсовода, объяснял рабочим, пришедшим вместе с ним в загончик: это «для нас» делают, это вот «у нас» будет установлено, «наше»... На Павлика он не обращал внимания, словно фигуры зверей и прочих персонажей появлялись на щитах сами по себе. Павлик понимал, что обижаться тут, собственно, не на что: разве разумно сердиться на человека, не делающего никаких попыток познакомиться с тобой?

Когда пришло время приступать к портрету, Павлик решил не выносить щит каждый раз из гаража — хлопотно, надо кого-то просить, да и чувствуешь себя под крышей в гараже в большей недосытаемости. Он только пошире раскрыл двери, чтобы стало светлее.

Теперь, когда не надо было то и дело снимать один планшет и тут же прикреплять другой, когда сократились мелкие операции, работа и подавно пошла споро. Вскоре и здесь пора подготовки осталась позади — щит был разбит на клетки — Павлик увлекся, и то, чем он был занят, вряд ли нельзя было назвать самым настоящим творчеством.

Это была работа, при которой особенно хорошо думается. Время шло, на щите возникали все новые и новые линии, тени, ложились всевозможные полосы бежевого и красного оттенков — для лица, зеленого и синего — для одежды, прибавлялись какие-то неожиданные на первый взгляд, но нужные и точные сочетания красок, а мысли, незванные, не зависящие от того, что изменялось в изображении, неторопливо сменяли одна другую, без всякой на то его воли или команды возвращая Павлика к прошлому, пережитому, словно призывая еще раз взглядеться, вдуматься, требуя дополнительных оценок, каких-то прояснений и уточнений.

Работа над портретом близилась к завершению, и Павлика удивило, что как-то равнодушно воспринимают его. «Чудно, — думал он, — на басни глазели, обсуждали каждого зверька, а тут... Словно сговорились — молчат, а некоторые вообще не заходят.

Неужели у меня получилось хуже? А может, раньше их увлекала частая смена сюжетов, увлекало само движение — от иллюстрации к иллюстрации? А тут ведь ничего нового, все заранее известно, и оттого, что сегодня я закрою этот квадрат, а завтра — тот, ничего не меняется в их глазах...»

Даже шофер Дмитрий, ревностно и по-хозяйски до того относившийся к ходу работы над картинами, вдруг словно потерял к ним



всякий интерес. За забором был слышен его глуховатый голос, но сам он в загончике не показывался.

Кроме неизменного Михеича, теперь «ателье» Павлика навещал лишь Толик, сын уборщицы тети Паши. В один присест оглядев все кругом, он каждый раз спрашивал Павлика, показывая на чемо-данчик:

— А там чего у тебя? Краски, да?

— Краски, краски...

Другого ответа Толик и не ждал. Он удовлетворенно сопел и уходил.

Наконец пришел последний день — день сдачи готовой работы. Павлику оставалось доделать какую-то чепуху, но он медлил, тянул время, потому что мог покончить со всем этим быстро, но тогда бы пришлось мучиться от безделья, дожидаясь Клюева, который неизвестно когда придет. Неторопливыми движениями Павлик наносил последние ударчики сажей в местах глубоких теней, стараясь не переборщить, дать в меру, иначе будет типичная любительская работа. От предстоящего свидания с Клюевым, от ожидания этой встречи у Павлика щеки занялись легким румянцем, он часто курил, поглядывая на часы и на дверку в заборе... Приблизился ответственный момент. Возможно, Клюев придет не один, организует комиссию, актик, протоколы, это на него похоже, пожалуй...

Во дворе, за забором, стоял повседневный шумок — негромко постукивали двигатели, мимо проезжали с гулом машины, у проходной о чем-то спорили диспетчеры. Вот послышался голос Дмитрия, сегодня он звонче обычного. И в этот момент дверка распахнулась, и в проеме ее возникла фигура Михеича. Сторож знаками просил его подойти.

— Павлуш, вишь, какое дело-то, — Михеич впервые вдруг назвал его по имени. — Митька, дурак, автобус запарол. Ну, не совсем, конечно... Въезжал, разиня, в ворота, да вправо слишком взял, а там у нас крюк от старых ворот остался, спилить некому — ну и прочертил себе весь кузов насквозь, деревня! Во полоса-то! — он показал на пальцах. — Автобус новехонький, только получен, а тут, слышь, директор должен на нем в лагерь пионерский ехать... Увидит — взгреет Митьку... Ну, слышь, ребята просили... Ты, говорят, попроси художника нашего, может, чем закроет полосу-то, а эмали такой негу сейчас... А?

— Когда надо-то? — Павлик был слегка растерян и раздосадован, он ждал совсем не этого, хотя слова о «нашем художнике» его не оставили равнодушным, если только их не придумал на ходу сам Михеич...

— Сичас не сможешь? А то директор, бают, уже у себя, вот-вот прийти вздумает...

— Ладно. Скажи Дмитрию, пусть подгонит автобус сюда, к этой двери, не по двору же гонять с красками.

Снизу и до самых окон кузов автобуса оказался покрытым краской сложного состава, приближавшейся к темно-вишневой гамме. Через всю эмаль шла шириной в два пальца ровная светлая полоса, будто краска здесь была старательно снята широким долотом, направлявшимся умелыми руками. Возле машины и ахающего с матерщинкой Дмитрия собралась небольшая толпа сочувствующих, в ней Павлик заметил и своих знакомых «критиков». Все видели беду шофера, всем было жутковато-сладостно представлять, как его разносит директор, радовались, что беда с кем-то другим, не верили в счастливое избавление Дмитрия от напасти и с нетерпением ждали интересного зрелища — как он будет выкручиваться. Видя все это и прекрасно понимая своих людей, к тому же заметив выходящего из загончика Павлика с тюбиками и фанеркой в руках, Дмитрий убежал с глаз долой.

Когда Павлик разложил краски на подставленном кем-то ящике, люди вокруг как-то тяжело задышали, словно побежали тяжелый кросс. Они сгрудились. Хотели своими глазами видеть это таинство. Они не верили в чудо, которое спасло бы Митьку, и теперь внимательно наблюдали. Видели вблизи юношеские руки, пляшущие от волнения, и Павлик иногда без нужды шевелил пальцами, чтобы скрыть от них эту дрожь.

— Ну, чего ты возишься? — глухо прорычал откуда-то снова прибежавший Дмитрий. — Дай мне, я сам!..

— Нет, нет! Вы испортите, вы не знаете их. Когда они высыхают, они совсем другого оттенка...

Шофер опять исчез.

Сейчас — или будет поздно. Медлить нельзя, лучше сразу отказаться. Возможно, через несколько минут сюда зайвится директор, и тогда все станет ненужным.

Он взял тюбик темно-красного кармина, потом синего кобальта. Выдавил, смешал. Приставил — нет, не то. Рвет, выделяется и темнее почему-то. Он добавил крапп-лака. Приставил — что за чертовщина! — теперь слишком светло, жидко! «Быстрее, быстрее думай! В чем же дело? Постой, постой... Да ведь на машине светло-желтая грунтовка! Вон она виднеется по краям ссадины. Ура! Значит, не красным надо светлить, а природным — желтым!..»

Павлик смешал заново, добавил стронция и белил. Вроде теперь все как надо... Он даже сам удивился: как это у него получилось. Теперь закрыть ссадину... Быстрее, быстрее!..

Полувдох, полустон, выражающий одновременно удовлетворение и изумление, раздался за его спиной, когда кисть наглухо забила последний кусочек царапины. Защищая тряпочкой место, где он залез на эмаль, Павлик услышал, как защелкали, словно по команде, портсигары — напряжение миновало, люди сбросили оцепенелость,

закуривали с легкой душой. Значит, получилось. Главное, гамма совпала. Павлик обернулся.

Несколько рук протянулись к нему. И хотя у него в кармашке лежали любимые сигареты «Кино», он взял из первого же портсигара «Гвоздик» и закурил, глядя на людей ничего не видящими, счастливыми глазами.

— Молоток, парень! Не зря хлеб жуешь!..

— Ловко он! Директор теперь и не заметит.

— Такое не всякий маляр сможет. Неделю думать будет. Да, здесь талант нужен...

Как приятно доставить людям радость! Но не менее приятно и тогда, когда они просто видят, что могут на тебя положиться, когда они верят в тебя еще до того, как дадут тебе задание — доверяют, и все. Знают, что справишься, что ты мастер своего дела. Но где же было мастерство — в портрете или здесь? И там и здесь. Но почему здесь это радость, чувство локтя, какое-то особое взаимопонимание, установившееся сразу и надолго, а там этого нет? Ведь и то и другое — все это для них же, для одних и тех же людей... Павлику не под силу было разобраться во всем этом...

Когда спустя некоторое время он вернулся в свой загончик: надо же подготовиться к сдаче выполненной работы, — он услышал за забором голоса.

— Ну, ну, покажи своего красавца, Митя, — басил довольно директор.

— Да вот, пожалуйста, Борис Александрыч! Кузов — чепуха, смотреть нечего... Главное — хорош внутри. Взгляните сами, вот сюда, пожалуйста...

— Да нет, погоди. Почему ты говоришь, что кузов плохой? Хорош. Не хуже, чем у станкостроителей. И окраска подходящая, солидная... А это что такое?!

За забором воцарилась гнетущая тишина. Павлик тоскливо посмотрел на часы, проклиная Клюева, видно, и не собиравшегося показываться в этом гараже...

— Снять! Снять немедленно! — заревел директорский бас. «Что — снять?!» — думал Павлик, окончательно сбитый с толку.

— Ты ведь детей будешь возить, чудило. Рано им еще на красоток глядеть. Сними без разговоров... Ты меня понял, Митя? А теперь давай показывай внутри...

Слышно было, как шофер открыл дверцу, как, кряхтя, в автобус забирается директор, дверца захлопнулась, и все стихло.

Павлик с облегчением хмыкнул. Хоть и получается, что вроде бы обманули директора, да ведь обман-то чепуховый и опять же во имя спасения человека, которому бы иначе неприятность и разнос... А Дмитрию и так урок...

...Клюев распорядился, чтобы портрет вынесли из гаража на свет. Был ранний июньский вечер, тихий и солнечный, и когда рабочие

вместе с Павликом вынесли фанерный щит на руках и, подняв, прислонили его к забору, лучи солнца, мгновенно занявшись портретом, внесли в краски яркую свежесть, обострили цвета. Лицо человека заиграло оттенками, обрело какую-то скрытую доселе реальность. Голова стала пластичнее, объемнее, она словно выступила вперед, оставив за собой пространство, наполненное потаенным светом и воздухом.

Клюев взял из рук Павлика открытку, поиграл глазами — поводит ими от портрета к открытке и обратно, потом отдал ее и полез в карман за бумажником...

Павлик не спеша протирал руки бензином, чувствуя кожей оттопырившийся карман ковбойки, куда он предварительно сунул пачку денег, когда через дверцы в загончик ввалились Дмитрий, Михеич и еще кто-то незнакомый. Секунду-другую помедлив, шофер, пока остальные толпились у портрета, вдруг выпалил:

— Слушай, друг. Пойдем с нами, кончай работу. Тут в баре такое, брат, пиво! А может, и прицеп еще возьмем. Не обижай, а? Я тебе, понимаешь-нет, обязан. Выручил ты меня, ну спас, просто... Айда!..

Как-то сразу все опять окружили его, ждали решения. Павлик скосил глаза на Михеича: «А вы тоже пойдете?» Сторож, словно отвечая ему, сказал Дмитрию, улынувшись:

— Ну, что ж, если со знакомством. Можно... — и тут же картинно посерьезнел, прикрикнул: — Только, Митька, учти — много пить не дам! Тем более что Павлуша при деньгах, ему домой скорее надобно!..

...Вечером, поздно, Павлик шел, размахивая чемоданчиком, чуть пошатываясь, но с ясной головой, и все перебирал в уме события дня, чувствуя, что для него этот сегодняшний день будет незабываем. Он был прежде всего горд и счастлив, но не только оттого, что сдал экзамен и доказал, что он многое может, а потому еще, что стал вдруг так полезен людям в их обычных делах, сумел помочь им в трудную минуту. И еще он был счастлив, что приобщился к большой человеческой дружбе, познал редкое по силе духовное единение мужчин, возникшее не за столом, а раньше — застолье только укрепило его, и Павлику казалось, хотелось верить, что это будет с ним теперь всю жизнь...

## ДОРОЖНЫЙ РАССКАЗ

Едва наш поезд отошел от перрона Ярославского вокзала, как в купе началась обычная дорожная жизнь — с привыканием к тряске и постукиванию на стыках, с постепенным знакомством, короткими репликами, какими-то суетливыми движениями, словно времени в обрез, а не предстояло двое суток провести в этих узких стенах плюс еще более узкий коридор, с предложениями и готовностью помочь, прийти на помощь соседу, вовсе не нуждавшемуся в вашей поддержке,

и прочими преувеличенными действиями и знаками дружелюбия. Купе подобралось мужское, для курящих и употреблявших, кроме минеральной и кваса, еще кое-что.

Возраста мы все были примерно одинакового, не было среди нас ни ветерана войны, но и комсомольцев тоже не было — пятидесятники, еще уверенные в себе и своих возможностях, достигшие, как принято говорить, положения и веса в обществе. Как ни странно, разговор, после того как один из попутчиков достал и угостил всех фруктовой водой, зашел о женах, об их верности и случавшихся изменах (не у наших, естественно). Странно потому, что все мы были люди домашних профессий — не моряки и не зимовщики, не геологи и не космонавты. Педагог вуза, фотограф из журнала, агроном и начинающий (в пятьдесят-то лет!) писатель не могли припомнить факты долгого своего отсутствия в собственной семье или просто длительных командировок. Вдобавок фотограф вообще был разведен и у него не было собственного материала и наблюдений для возникшей темы. Однако он-то и рассказал самую занятную историю, которую я попытаюсь здесь воспроизвести, освободив его речь от режущих слух выражений, которыми он прославлял свой рассказ непринужденно и, казалось, автоматически.

— Дело было в начале мая, листья на деревьях еще практически не было, так, вроде зеленого марева вокруг веток. Однажды вечером звонит Славка, друг, и объявляет, что к нему неожиданно нагрянула знакомая из Харькова, приехала за покупками в столицу на пару дней, а приютить ему ее негде: дома живут его родственники, спят вповалку на полу. Так не соглашусь ли я, задубевший холостяк, взять под свой кров молодую провинциалку, готовую спать на кухне на раскладушке или просто на полу, тем более что речь идет о двух-трех днях... Признаюсь, я не очень был огорчен такой перспективой, особенно когда узнал из разговора с другом, что Инна Сергеевна — так звали приехавшую — развелась с мужем и чувствует себя свободной. И все-таки какой-то червь сомнения точил меня, пока соображал, что ответить. Дело в том, что друг-приятель мой уже несколько раз знакомил меня с женщинами и легкими на ногу девицами с целью не то моего брака, не то более прочных связей со мной — но все, увы, оказывалось настолько примитивным, а порой и пошлым, что лишь давние отношения с другом удерживали меня от серьезного и окончательного разговора с ним. И еще одно: именно в эти дни друг собирался показать мне новую модель — какую-то манекенщицу из Алма-Аты, которая к тому же еще и стихи сочиняла...

— И что же вы ответили? — не вытерпел преподаватель литературы, решив подтолкнуть рассказчика к колее событий непосредственных.

Фотограф отпил глоток воды, смерил взглядом спрашивавшего:

— Я сказал, что пусть привозит, но если окажется стерва или еще

пуще, уличная какая-нибудь — выгоню обоих вместе за шиворот. Вообще в моем положении отказываться от приключения загодя не следует — кто поручится, что это не могло стать для меня поворотом в судьбе холостяка? Я, конечно, волновался, прибрал в квартире настолько, насколько считал срочно важным, попрятал ненужное...

В семь вечера звонок. Открываю — стоит ухмыляющийся приятель, но не с одной, а с двумя особами. Гостью из Алма-Аты узнать сразу было делом несложным, и все восторги приятеля оказались блефом — бедняжке не повезло от природы... Зато вторая...

— Афродита с юга? — вставил агроном, иронично поджав губы. — ...Если вы видели «Барабанщицу» в театре Советской Армии, то харьковчанка была похожа на нее, только поминиатурнее. В общем, скомпонована удачно.

Ну, расположились, накрыли небольшой стол. Инна Сергеевна больше молчит, украдкой разглядывает меня, комнату, но чаще сидит, опустив глаза. Лицо точеное, носик тонкий, кожный покров без складок, очень экономный — лицо из тех, что долго не стареют. Костюмчик английский, зеленоватый, кремовая блузочка — ни дать ни взять сельская учительница.

Преподаватель литературы заегазил на диване, у него появилось мечтательное выражение в глазах, нахлынули толпой воспоминания...

— А у манекенщицы глаза темные, бегают по сторонам, а сама тараторит без умолку, и вино успеваешь пригубить, и вопросы задает — я уж другу кивнул: мол, давай, сам отвечай, как можешь. Постепенно я присмотрелся к харьковчанке: мила, хороша, ничего не скажешь. Завитушки волос падают на невысокий лоб и прикрывают маленькие уши, в которых торчат по красной бусинке-сережке. Было в облике нечто провинциальное, но это не портило ее нисколько. Выпив немного вина, она стала держаться свободнее, жестикулировала миниатюрной ручкой с оттянутым полусогнутым указательным пальцем, говорившим о том, что женщина привыкла к работе с иглой (последствия оказалось, что она модистка по дамским меховым шапкам и воротникам).

Я долго не мог понять, какое место она отводит мне, пока не уловил, что Инна вовсе не старается, чтобы ее мимолетные взоры совсем ускользали от моего внимания. Уединившись на минуту с другом на кухне, я сказал ему, что не против, если она останется, и что он может за нее не беспокоиться.

Преподаватель вдруг захихикал: «Как в анекдоте про джентельменов?!»...

— Если хотите, да, — вдруг серьезно сказал фотограф. — У меня немало отрицательных черт, но чего-чего, а свинства и подлости я не терплю. — Он замолчал и, казалось, совсем прекратил свой рассказ, наверное, обидевшись на педагога. Мы не мешали ему и все вместе

какое-то время слушали ритмичное постукивание колес на стыках рельсов и еле слышный скрип отворившейся гамбургской двери.

— Ну, это никуда не годится, — вдруг заявил агроном, вытирая лысину огромным носовым платком. — Начали, растравили душу — и в кусты.

Оба спутника — я молчал — принялись уговаривать фотографа продолжить рассказ. Он с заметной неохотой уступил им.

— Я забыл сказать, что накануне сдал последний экзамен на переезда. И когда друг и его алма-атинская подружка удалились, я предложил Инне отметить это событие, о котором я совсем забыл давеча за столом. Она тоже выпила еще, и как мне показалось, с охотой. Я-то теперь пил скорее для храбрости, потому что знал, что, несмотря ни на что, даром эта ночь не пройдет, что-то непременно будет. А Инна, наверное, пила тоже, чтобы пропала скованность, естественная в ее положении. Однако внешне все развивалось совсем не так, все выглядело как в зале ожидания вокзала, где чужие люди вынуждены спать бок о бок совсем рядом. ...На кухне, глядя, как я расставляю для себя раскладушку, оперевшись о холодильник, Инна вдруг призналась:

— Вы знаете, я хотела бы, чтобы вы были в курсе моих отношений со Славой. Он просто безумен, теперь мне ясно — ведь это он вызвал меня сюда, в Москву. Знаете, для чего?

Я смотрел на нее, вспоминая заверения друга, и ничего не понимал.

— Он сделал мне предложение. Просит выйти за него замуж. Завтра мы поедем смотреть его новую квартиру, ему сегодня ключи дали. Почему вы так смотрите? Не верите?

Я просто смешался, язык присох. Она — невеста? Невеста Славы? Это все меняло. Но почему он молчал? Очевидно, потому, что не был уверен, что я одобрю его шаг? Может, просто не хотел раньше времени хвастаться... Я смотрел, как Инна ручкой с согнутым пальчиком поправляет свои локоны, потом дует снизу вверх, чтобы лучше легли, что ли, смотрел и чувствовал, что голова моя начинает кружиться...

— О, вы знаете, — перебил, как подскочил с дивана, преподаватель, — у меня была история противоположного свойства. Однажды наш общий друг пригласил всех в ресторан, пришел с какой-то девахой — надо сказать, отменной красоты, — объявил, что она его невеста. Это чтобы мы не претендовали на нее, на ее внимание. Чтобы она танцевала только с ним. ...Кончилось тем, что, разоблачив его, мы набили ему морду за дезинформацию и эгоизм... Правда, это было еще в студенческую пору...

Агроном укоризненно смотрел на педагога: старикашка, вы уже далеко не мальчик! Хватит перебивать!..

Фотограф попросил сигарету у писателя, прикурил, откинулся на спинку дивана. Не исключено, что он задумался как раз над тем, почему друг его поступил наоборот — не предупредил, что Инна его

невеста, ведь в подобных случаях именно так поступают. Потом продолжил рассказ:

— Короче говоря, я почувствовал двойственность положения. Представьте себе: красивая женщина, держится свободно, все в ее жестах говорит о раскованности, остается на ночь с неизвестным мужчиной...

— Неизвестно только, джентельмен он или нет!..— опять хихикнул вузовец.

...— И заявляет, что она невеста и «другому отдана» и будет «век ему верна».

— И что же вы чувствовали в тот момент?— решил уточнить писатель.— Какая мысль была тогда главенствующей?

— Честно говоря, больше всего было путаницы в голове. И еще какая-то гордость была, верите ли, за себя...

— За то, что друг доверил вам самое дорогое?..

— Вот именно. Но это временами было, словно наплывами. Самое основное было все же недоумение: я, оказывается, совсем не знал жизни, если такой момент сбил меня с толку...

— Послушайте,— вмешался агроном, развязывая галстук,— что вы все время околицами ходите, вокруг да около. Уж взялись, так договаривайте, говорите о деле. Нельзя же так! Тянете резину, и все.

— Да он о деле говорит,— вступился писатель.— Вам важен лишь конечный результат.

— В общем, перед тем как разойтись по комнатам, мы еще успели о многом поговорить. Так, выяснилось, что у нее двое взрослых детей, она даже карточки их показала — сын и дочь, студенты. О бывшем муже сказала только, что он был пьянчужкой, самодуром и совсем не уважал ее, хотя достаток в доме был от нее, от ее клиенток, заказывавших шляпы и горжетки.

Итак, я себе сказал, что мне тут нечего искать — двое взрослых детей, выходит замуж за Славку, и точка.

В кухне я поставил кровать так, что головой лежал к окну, а ногами к двери в коридор, и мне был виден свет в гостиной, где я постелил ей. Свет долго не гас. Она раза два приходила на кухню за какой-то мелочью — воды попить или еще что-то в этом роде. В общем, что рассказывать, вам фантазия подскажет, почему сон долго не шел ко мне. Но не только ко мне. Свет не гас и в два часа ночи, когда я внезапно проснулся, словно от толчка. Я решил пойти погасить сам — возможно, она заснула с книгой. Не из экономии вовсе, а просто подумал, что неловко как-то спать при включенном верхнем свете.

Инна держала книгу, подперев голову рукой, но, честное слово, было такое впечатление, что в книге она не успела прочесть ни строчки...

— А как вы считаете, Слава — хороший человек? Вы ведь его друг!



Даю вам слово, что я остался и принял участие в разговоре только потому, что появилась редкая возможность поговорить в моем пустынном «монастыре». Сев в кресло у двери, я подтвердил, что ее жених человек интересный, добрый. Не помню слово в слово, что я говорил, но помню, что все в пользу друга. Рассказал, что он воевал, был ранен на фронте.

— Правда? А в каких войсках?

— В артиллерии.

— Странно, а он мне ничего об этом не говорил. — При этом она так неумело поправила одеяло, что видна стала грудь — на миг, не больше, это выглядело неловкостью простодушного человека, и только. Но в висках у меня пульсировало. Монастырь монастырем, но я ведь не монах, и когда она, перехватив копну волос правой рукой, прикрыла ими грудь, я почувствовал первое волнение. Она спросила, не осталось ли там вина после ужина, она бы охотно выпила, может, это ей помогло бы уснуть, а то в новом месте непривычно, бессонница...

...Я принес остатки вина, мы выпили. Не помню, как я очутился на краю ее постели, причем разговор шел о привычных вещах, даже о чепухе, только я сейчас припоминаю, что она почти не мигала, когда смотрела на меня, причем не отрывая глаз, знаете — руки, плечи, тело двигаются, а голова неподвижна, глаза устремлены на меня, словно она какое-то открытие делала важное, старалась не оторваться, не отвлечься...

От Инны шел какой-то неуловимый запах душистого увядшего полевого букета... Она все время твердила, что вот завтра будет уже со Славой, что она будет верной женой ему и все прочее...

«...Ведь подлец я, — подумалось ему, когда его руки уже сомкнулись у нее за спиной и в лицо ему припал, хлынул благоухающий ливень шелковистых волос, струящихся по ее лицу и груди... — Это же невеста, невеста! Чужая невеста!»

Она вмиг почувствовала его охлаждение, руки ее обвисли, сплелись у него на шее, она губами нашла его пылающее ухо: «Если бы ты знал, как я страстно хочу, чтобы не он, а ты был моим...»

Эти слова невесты совсем его отрезвили. Он вырвался, отделился от теплого, зовущего и содрагающегося тела, подошел к окну, стал смотреть, как ветер треплет голые ветви лип, раскачивает верхушки стволов...»

Фотограф замолчал и, казалось, забылся, глядя в окно вагона.

Пауза затянулась, но никто не решался нарушить хрупкую тишину. Слова казались неуместными. Все ждали. Наконец агроном первым кашлянул и сказал:

— Ну-с, мы не настаиваем на финале. Его в общем нетрудно представить, хотя...

— Хотя в девяноста случаев из ста финал был бы таким, каким вы его представляете, — медленно, не поворачиваясь, промолвил рассказ-

чик, — однако здесь вариант другой, и виноваты в этом немало наши традиции, наши институты. Ведь с детского садика внушаем: честность, порядочность превыше всего. В школе уроки нравственности почти на каждом предмете...

— Вы, вероятно, из тех, кто не пользуется шпаргалками? — предложил агроном, торжествуя глядя на преподавателя.

— Угадали. Я человек чересчур правильный...

— Однако вы нас заинтриговали, не бросайте на полпути, — шутливо посетовал писатель, напоминая, что рассказ не кончен. Все поддержали его, и фотограф словно вернулся из далекого далека снова сюда, в купе скорого поезда.

«...Она, обнаженная, встала с постели и подошла к нему, стала рядом. В свете уличного фонаря он увидел, что кожа у нее дряблая и пористая, как поверхность перезрелого лимона... Но главное — это ее слова, ее речь... Они жалили и кололи.

Она заговорила вдруг, что Слава очень плохо о нем отзывался в разговоре с ней. Она умоляла ему не доверять. Она уничтожала его друга, а сама тянула его к постели. Это выглядело приготовлением к мести, к отмщению. Но за что? Во имя чего он должен мстить Славе?

...Наутро он осторожно заглянул в комнату, проснувшись раньше. Инна спала вниз лицом, уткнувшись в подушку, так что видна была одна щека, бровь, веко с длинными ресницами, красивые волосы... Поза ее говорила о полном покое — чудно, словно не было этой бурной ночи с дурацкими объяснениями... «Женщина — произведение искусства», — вспомнилось ему выражение одной строительной рабочей, лимитчицы из общежития, когда-то повстречавшейся на его пути, худой и кривоногой девушки, заменявшей свои природные недостатки обилием оптимизма и всяких самовнушений. Да, а уж тут что говорить — это просто шедевр.

Он почувствовал что-то вроде раскаяния по поводу вчерашнего — глупое ощущение потери чего-то значительного. Теперь есть за что себя казнить. Может, она и не невеста вовсе, наговорила на себя, придумала вначале, боялась, что будет навязчив, а потом спохватилась, и получилось все архиглупо, по-идиотски... Он еще полюбовался издали, вздохнул и пошел на кухню собирать раскладушку, ставить чайник.

За завтраком Инна была задумчиво-иронична и молчалива. Когда он спросил ее, всему ли можно верить из того, что она сказала про Славу, ее жениха, сегодняшней ночью, она, отбросив словно что-то надетое как маску, усмехнувшись сказала по-местному: «Что говорено, то между нами», — словно черту подвела, не желая вдаваться в детали.

— Ну, вот, пожалуй, и вся история. Да, забыл сказать — на следующий день я узнал от Славы, что Инна, накупив мехов, в тот же

день уехала в Харьков, решив вернуться к самодуру-мужу, и что все ее слова насчет невесты и предстоящего брака — чистая выдумка, причины которой он сам не понимает. Вот какая история...

— А как же квартира у вашего приятеля? Тоже фикция?

— Почему фикция? Квартира как квартира — ему как ветерану дали в первую очередь. Но жениться он пока не собирается. Говорит, что сыт этими женитьбами по горло, мол...

— Знаете, не мучайтесь в догадках, — объявил вдруг преподаватель. Она просто обычная потаскушка, ваша Инна, только с долей сумасбродства. Просто ей захотелось в ту ночь чувствовать себя невестой, для возбуждения, так сказать...

— Хорошо тому, кто все знает, — едко вставил агроном, выйдя из купе и оставив дверь открытой. Он стоял в коридоре и дымил своим излюбленным «беломором». — И все объяснить может, все по полочкам разложит... — Он игнорировал уничтожающий взгляд работника высшей школы, подмигивая фотографу.

— А я думаю, если вам интересно мое мнение, — начал писатель, принимаясь за свою постель на нижней полке, — вам было предложено своего рода испытание, экзамен...

— На прочность... — подсказал агроном, размахивая дым, чтоб не потянуло в купе.

— Нет, на подлость. Точно сказать не могу, да и вряд ли кто из нас в состоянии до конца разобраться в ситуации, но думается, что ваша гостья либо хотела доказать, что все мужчины прежде всего самцы, либо словом «невеста» она действительно хотела подстегнуть ваше внимание к ней, гарантировала, так сказать, факт сближения. В любом случае все основано на предположении, что хозяин дома — человек не слишком высоких нравственных барьеров...

— А может, это ему приятель такой экзамен устроил?

— Ну нет, это слишком сложно, и потом специально из Харькова за этим вызывать знакомую, пусть даже с видимой целью покупок, нет...

Поезд сбавлял ход, все реже постукивали колеса на стыках, кусты за окном стали ближе и рельефнее, можно было разглядеть листву... Все молчали.

Я, расстелив постель, лежал и думал в тишине, что вот передо мной прошел еще один драматичный сюжет, просящийся в книгу. Но напиши я об этом, читатель вправе подумать: ну что в этой банальной истории с двумя чужаками интересного, заслуживающего внимания? Не знаю... Но не из подобных ли историй, подчас неинтересных, скучных, а то и вовсе нелепых, состоит то загадочное и простое, дарованное каждому из нас на короткое время явление природы, называемое гордо человеческой жизнью?

## ТИШИНА МАЙОРА АНСИМОВА

Он сидел на кровати, укрытый по пояс одеялом, подогнув колени и сцепив на них желтые узловатые пальцы, и молча, не мигая, следил за каждым движением Воронцова. «Вот настырный! Ну, чего уставился?» Сейчас их осталось только двое — Воронцов и этот худой, костлявый старик с продолговатым лицом и жестким изжелта-белым чубом, по-мальчишески спадающим на лоб. Остальные уже ушли в столовую — звонок давно прозвенел, но Воронцов медлил, тянул время, надеясь, что к его приходу все больные усядутся, стихнут шум, суета.

В палате было душно, потому что оба окна закрыты во время недавнего ливня с грозой. Но теперь гроза отдалилась, снова ударило солнце, и в жарком воздухе смешивались запахи апельсиновых корок, ношеного белья, лекарств и чего-то еще, неуловимо больничного.

Воронцов встал и, сопровождаемый цепким взглядом старика, подошел к окну. Уже когда стукнули шпингалеты и створки бесшумно распахнулись вовнутрь, впустив за собой хлопья тополиного пуха, старик вдруг шевельнулся и спросил, все так же уставившись на Воронцова:

— Это вы закрыли или открыли окно?

Воронцов машинально с готовностью ответил, что открыл, и удивился, как это такой глазастый старик не рассмотрел откинувшихся створок. «Слабеет зрение-то... Возраст», — подумал Воронцов, сочувствуя и одновременно радуясь чему-то, и отправился в столовую...

Вот уж не предполагал Виктор Воронцов, маляр-альфрейщик из стройуправления, что именно этим летом, когда на объекте, назначенном к сдаче к октябрьским праздникам, дорога была каждая пара рук, именно в эту пору он угодит в больницу. Старший прораб, отпуская его, не удержался, выговорил: «Ну, брат, зарезал ты меня, зарезал». Потом, устыдившись неуместного к данному случаю слова, добавил: «Ты, Вить, не задерживайся там, лечись как следует, режим соблюдай и все такое... Глядишь, без операции обойдется...»

За свои сорок лет Воронцов всего один раз лежал в больнице, да и то в далеком детстве, во время войны, он даже не помнит, по какому поводу. Бывал и в домах отдыха, но как-то все так складывалось, что попадал в небольшие палаты и потому не привык к шумным компаниям. Да и работа у него была тонкая, сутолоки не любила — сиди себе на помосте, лепи аккуратно и линию держи, иначе не рельеф, а горе одно получится...

К счастью, в палате, куда его привели, стояло всего четыре койки, к тому же две были не заняты: у самых дверей, потому что мимо ходили все, и возле окна, потому что днем там наверняка палило

солнце. Ропщи — не ропщи, такова участь всех новеньких: ждать, когда освободится местечко поспокойнее. Виктор выбрал койку у дверей. Он не собирался здесь залеживаться, и потом, на случай уйти или прийти незаметно, так даже лучше — не надо громыхать через всю палату.

Присматриваясь потихоньку к своим соседям, слушая их редкие разговоры, Виктор постепенно узнавал о них самое главное из того, что необходимо для каждодневного общения, — возраст, профессия, привычки.

У противоположной стены располагались в ряд три койки. Средняя принадлежала Володе Щукину, работавшему чертежником в конструкторском бюро. Он был ровесником Виктора, а внешность имел примечательную: густые рыжеватые волосы, светлые брови, волевого подбородок. Несмотря на неразговорчивость и несколько суровый вид, Володя оказался человеком мягкого характера, добрым и отзывчивым. Его можно было застать чаще всего за двумя занятиями: он либо спал, либо, запустив пятерню в непокорные вихры, читал мемуары полководцев и дневники исторических деятелей. Другой литературы Щукин не признавал.

В глухом углу, который, как позже Виктор узнал, назывался «Степанов угол», стояла кровать Стародуева Степана, лысоватого мужика того неопределенного возраста, который при желании мог сойти и за тридцать пять и за пятьдесят. Степан никогда не читал, зато много двигался, часто выходил курить. Он был высок, нескладен, старая, обесцвеченная стиркой казенная пижама была ему коротка и подчеркивала несуразность мохлятых колен и локтей, как-то уж слишком выпиравших. Лицо Степан унаследовал некрасивое, на нем были одни увалы и бугры, среди них терялся невзрачный, с небольшой клубничку, нос. Изъяснялся Степан при помощи небольшого количества слов, одалживая их иногда у нехитрой заборной словесности. Был он одинок, судя по разговорам — несчастлив с женщинами, а теперь вот и болен, и потому зол на всех и вся, повинных, как ему казалось, в его невзгодах. Сам он именовал себя строителем, упоминал про какую-то стройку, но, когда Виктор, заинтересовавшись, хотел поговорить об этом, Степан оборвал его — не нравилось ему, когда расспрашивали о месте работы и тем более проживания.

В жизни люди редко имеют возможность выбирать себе соседей, все трое старались ладить друг с другом — были в меру внимательны, сдержанно беседовали, не проявляя интереса к подробностям биографий своих друзей по несчастью, и соблюдали заведенный ритуал. Наверное, так вели бы себя пассажиры одного купе, едущие поездом дальнего следования в одном направлении, с той лишь разницей, что никто из этих людей не знал, когда и на какой станции ему выходить.

А вскоре появился и четвертый.

Когда привезли этого старика из операционного корпуса и положили на свободную койку у окна, Виктора в палате не было. Он вообще старался после обхода подольше поторчать в скверике — никак не мог привыкнуть к духоте в отделении, к тому же неловко себя чувствовал под взглядами скучающих незнакомых людей.

С появлением старика все перевернулось. Сам факт был незаурядный: их палата предназначалась для пациентов, лечащихся медикаментами, а тут привезли человека после операции, неподвижного, закутанного в белое, как младенец в пеленки, с трубками-дренажами, выведенными в банки, подвешенные к кровати.

Прибегали ежеминутно няньки, сестры, временами залетал хирург в белом скрипящем халате и высоком колпаке. Откинув безжалостным жестом все белоснежные покровы, он колдовал над стариком в хаосе шлангов и стеклянных трубочек. Старик кричал, даже подвывал, но терпел. А хирург, похожий на повара, недовольного своей стряпней, тем, что не все вышло, как было задумано, досадливо пожевав губами и прищуриваясь, отходил от белого человеческого кокона, представляя упаковку сестрам и нянькам.

Потом врач стремительным балетным шагом летел к дверям. Полы его халата взмывали, показывая добротный, в серую клетку, костюм, остро напоминавший больным, что есть еще и другая жизнь, полная радостей и развлечений, которая текла за стенами больницы и была им теперь недоступна.

Хлопанье дверьми, возня, стоны, резкие запахи, которых старик еще не стеснялся из-за донимавших его болей, — все это днем было привычным и даже разгоняло тихую больничную скуку. Но с наступлением ночи все принимало другую окраску. Люди плохо спали, тревожимые светом и шумом. По утрам все трое сверлили глазами койку у окна, словно старик должен был тут же вскочить, размотать свои бинты и, извинившись за беспокойство, поклонившись, что все это было шуткой, поблагодарить за долготерпение и удалиться. Но старик лежал, не открывая глаз, безучастный, или, уставившись в одну точку, редко, чуть слышно вздыхал.

Виктору казалось, что новый пациент переживает из-за ночных переполохов, но, не зная способа загладить свою вину, старается быть как можно незаметнее в остальное время суток.

Однажды, когда старик, закрыв глаза, вроде бы дремал, Степан шепотом, больше похожим на сдавленный крик, сказал: «Во, глянь, днем дрыхнет, а ночью концерт устраивать будет. И чего сюда кладут таких, а?»

Палата не отзывалась. Всем было неловко. Хотя и... подмывало рассмеяться! Впрочем, надо бы одернуть Степана, да вдруг старик все равно не расслышал? Поднимать шум не хотелось, Стародуева не переубедишь. Да и прав он в чем-то, черт возьми!..

В подобные минуты все, словно сговорившись, забывали, что

именно по ночам боль сводит счеты с человеком, дожидаясь, не сорвутся ли с его уст вместе со стонами проклятия в адрес жизни, не готов ли он к тому, чтобы отныне и навсегда не желать возвращения в этот мир страданий и мук, а мечтать о наступлении блаженного небытия...

Шло время.

К старику стали пускать посетителей, и это было верным признаком, что дела у него шли на лад. Собственно, ходила к нему одна жена. Лет на двадцать моложе, в платье с большим вырезом, крашенная, вертлявая, как рыночная торговка,— она не заходила, а забегала раза два, по ее словам, «проездом» и «еле на ногах».

У постели старика она сидела как на иголках, заметно было, что ей в тягость эти визиты. Вполголоса говорила мужу, что едет с дачи, грязная, усталая, с вещами, и потому торопится, пусть он не сердится... Виктор недоумевал: как же старик не видит того, что замечают все — что она врет, что никаких вещей нет и платье на ней выходное, а сама она выглядит, как счастливая невеста, которую ждет внизу тройка с бубенцами?

«Вот чудак,— думал Виктор.— Или от любви уж рассудок потерял».

...Как-то незаметно для всех старик, поправляясь, освободился от трубочек. Теперь он ел сам, подтянув колени и положив на грудь поднос. Впервые все в палате услышали его голос, когда он просил прочитать ему меню на последующие дни и заказать для него что-нибудь. Стало известно, что зовут его Ансимовым Серафимом Андреевичем, что у него была сложная двойная операция, а привезли его сюда потому, что операционный корпус переполнен.

Ансимов понемногу вставал. Иногда стоял у окна, перебирал руками цветы, принесенные женой. Когда кто-то начинал о чем-нибудь рассказывать, он смотрел на говорившего, но в то же время осторожно прислушивался к чему-то еще. «Старик чуть-чуть не в себе после операции», — решили все и перестали обращать внимание.

Каждый снова ушел в свои заботы. У Володи разболелась голова; забросив книжки на время, он глотал таблетки. Степану скоро предстояло выписываться, и он совершал набеги на ординаторскую в поисках пропавших рентгеновских снимков. У Виктора положение было неопределенное. Вопрос об операции отпал, но профессор не давал пока никаких гарантий, говорил, что время покажет, насколько правилен избранный путь лечения. Время, время... А пока боли в позвоночнике не проходили, и та же слабость накатывала порой. А тут еще сон разладился, и виной всему все тот же старик.

По ночам в палате раздавалось шуршание и треньканье. Виктор не раз просыпался и видел, как старик, сидя на койке, перебирал какие-то листочки, тряпочки, как он, позвякивая ложечкой, ел что-то из банки. «Старый пень, дня ему мало», — злился Виктор, вдавливая ухо в подушку, накрывшись одеялом с головой. Однажды он чуть не

взорвался, чуть не нагрубил, но что-то его удержало, какая-то тоненькая ниточка преградила путь накопившимся чувствам... Теперь Воронцов старался уснуть сразу после обеда, не надеясь на ночь.

И вдруг от новенькой сестры, крепконогой и щекастой Валентины, по-деревенски простой и прямодушной, палата узнала, что старик Ансимов совершенно слеп.

С этого момента он приковал к себе внимание всех. Даже Степан затаил, по-своему изучая это явление.

Поверить такому сообщению нелегко — уж очень не похоже было на правду. Ансимов разговаривал, глядя собеседнику в лицо, а если в разговоре участвовало несколько человек — вскидывал глаза то на одного, то на другого, смеялся, шутил... Он ничего не разбивал и при ходьбе ни на что не натькался, хотя двигался очень медленно, впрочем, как все тяжелобольные старики. Ансимов уже знал всех в палате по именам, и если обращался к кому-нибудь, лежа в своей кровати, то лишь тогда, когда этот человек находился здесь, в комнате... Все это было странно и требовало объяснений, хотя бы минимальных.

На следующий день кто-то не выдержал и спросил — до обхода был еще целый час, — спросил напрямик, грубовато: правда ли, что совершенно, полностью...

Старик ответил, что правда и что, если уж им все известно, он может поведать о том, как это с ним приключилось, — он поправил седой чуб, почти налезавший ему на брови, и вдруг улыбнулся и стал похож на озорного мальчишку.

— До войны я был учителем истории, — начал спокойно Ансимов, устроившись на боку и подперев голову рукой. — Помню, в июне только принял экзамены у десятиклассников, а тут на тебе — бери винтовку в руки и — ать-два! — ступай делать новейшую историю, дописывать новые страницы. Дрался я не хуже других, но под Гомелем между клиньями наступающих немцев угодил со своим батальоном в окружение. Связи с полком сразу как не было. Отходили на восток, так сказать, со «свитой»: справа, слева, спереди, сзади — всюду враги. Они на нас наскакивали, завязывались короткие стычки, но до крупного сражения не доходило: шли-то мы в глубинке, не по дорогам, а по чащобам, болотам. Гитлеровцы, небось, думали: пусть пока топают, все равно не уйдут, вот руки посвободнее будут — и накроем. Но мы тоже даром времени не тратили, раненых размещали по деревням, какие попадались на пути, сами готовились к прорыву. Но людей теряли все равно...

Да, а с провиантом все хуже становилось, пайки урезали до крайности, до фантастических норм. Как-то к нам прибился кавалерийский обоз в пятьдесят лошадей. Я приказал бить коней, а замначштаба полка (он с нами выходил) уперся, ни в какую: строевые лошади, говорит, могут потребоваться в любую минуту (сена у нас немного было, успели где-то разжиться). А я не мог смотреть, как солдата винтовка с ног валит, люди просто падали от истощения. В общем, подрались мы, оба молодые, горячие. Он мне по скуле заехал,



я ему тоже соответственно возразил... Но лошадей ели. А вышли из окружения всего с сотней бойцов. Меня — куда следует. «Где полк? Расскажите, как свой батальон растеряли?» и т. д. Отпустили на время, солдат — на переформирование. Но не успели со мной серьезно поговорить: немец опять попер, меня в штабе армии поддержали, снова дали мне батальон... Воевал как положено, в чем-то умнее стал, но наука военная давалась недешево. В той же самой Белоруссии, откуда мы на восток топали, был два раза ранен, не очень серьезно. А вот в Польше, на Одре, чуть на тот свет не попал... Я к тому времени уже майором был, а начинал лейтенантом.

Сидим с начштаба соседнего полка в блиндаже, решили переждать артналет. И блиндаж-то курам на смех — чуть ли не за полтора километра от передовой, но вот тут нас и накрыло. Не знаю, как начштаба, но я лично дальше ничего не помнил и не соображал, словно заснул крепко на той скамье в блиндаже, а остальное уже во сне вижу...

Снится мне, вроде я в госпитале. Глаза открываю, а сиделка как заорет, как вскочит, трясется вся, я чуть богу душу не отдал со страху — вот уж где испугался по-настоящему, а она, бедная, заорала, потому что я впервые за два месяца глаза открыл на божий свет. Примчался какой-то военврач с бородой, но дальше опять не помню. Тут, по-моему, я сознание потерял во второй раз.

Потом легче стало, даже совсем легко — я словно заново родился, с чистой детской душой: что было до этого — не помню, можно мне говорить что угодно, я обязан верить, потому что все-таки где-то в подсознании-то я понимаю, что должна же быть у меня уже какая-то биография, я же взрослый человек, судя по зеркальцу, что мне сестра дала.

В общем, я потерял все — события, людей. Меня, например, спрашивают, кто, кроме меня, находился в блиндаже, а я не понимаю, чего от меня хотят. Когда мне рассказали, что у меня есть семья в Горьковской области — я словно сказку слушал о чужом дяде, но не о себе самом. С интересом я узнал, что у меня есть жена и трехлетняя дочка. Помню, больной я был и беспомощный (Ансимов улыбнулся, у него были крепкие желтые зубы), ну, совсем доходяга, а первой мыслью было при упоминании о жене — кто она такая и какова собой?

У слова «отходить» есть немало значений, но среди них — два прямо противоположных по смыслу. Так вот, не поверите, но когда я начал «отходить», то есть возвращаться к своему «я», — радовался безмерно, что живу, вижу, слышу. Бывало, муху увижу на потолке и чуть не плачу от умиления: как это огромно и прекрасно — жить!

Память стала медленно возвращаться ко мне. Но не без помощи врачей и сестер, да и своих ребят, раненых: теребили, заставляли вспоминать, книги о войне читали, уж чего только не делали. Но память, возвращаясь, сыграла со мной злую шутку, а может, все от

перенапряжения, но я начал бредить. Особенно по ночам. Любил покомандовать в бреду — вот где разыгрывались мои самые удачные сражения, которых мне не хватало на фронте в первый год войны... Ну, понятное дело, надоел всем, а тут и госпиталь обновился — врачи сменились, раненые друзья повыписывались (лежал-то я не один месяц), прибывали каждую неделю незнакомые люди. Надоел так, что с легкой руки какого-то медика угодил я на три месяца в психиатрическую лечебницу (из армии я к этому времени уже уволен был).

Ну, у психов не очень-то покомандуешь. Помню, на третий или четвертый день подходит ко мне одна странного вида личность, не из нашей палаты, и говорит: «Мне кажется, вы очень больной человек, хотя и великий артист. Но скажите, у вас все роли такие громкие?» Тут я стал догадываться, куда попал. И знаете, это меня как-то мобилизовало, я словно «протрезвел», что ли. И такая воля к жизни вдруг появилась. Не от соседства с психами, конечно, а просто время, видимо, взяло свое, да и организм еще не старый был.

В общем, выписался я спустя почти год — пошел в методкабинет при районо; преподавать уже не мог, начал работать над пособиями для уроков истории. Так и пошло...

...Ансимов замолчал. Больные тоже молчали, терпеливо глядя на него, словно догадывались, что он и сам не оставит без ответа их немой вопрос. В палате было тихо.

— Да, так вот. — Старик откинулся на подушки и скрестил пальцы за головой. — А лет через пять-шесть стал постепенно слепнуть. Все перепробовали, ничего не помогало. Травматическая слепота, как правило, наступает исподволь, позже. В госпитале тогда мне не сказали, пожалели... А так хотелось видеть все вокруг, такая интересная жизнь начиналась. Хотелось читать как можно больше, глотать все подряд — я вспомнил, как многого я не успел в своей жизни сделать, как часто убеждал себя, что догону, наверстаю еще. А теперь я жаждал просто как можно больше увидеть, запомнить, впитать в себя от красок, цветов, линий. Больше всего я ненавидел сон, эти пустые тихие ночи, мне не хватало времени, от меня уходил огромный объемный мир, и отныне я должен был сохраниться в памяти то, что видел вокруг себя в данный момент, — другого увидеть мне уже не суждено. Я обязан был привыкать к вечной темноте, которую ничем не осветить и не развеять... Я стал чаще касаться руками окружающих меня вещей, приучал себя воспринимать наугад расстояния, которые пока мог еще проверить зрением...

В общем, сейчас я на пенсии, но продолжаю работать — методист по преподаванию истории.

— И вы нас совсем не видите? — спросил Володя. — Совсем?

— Понимаю, — слабо улыбнулся Ансимов. — Вы удивлены, как это я вас различаю. Очень просто: за это время я изучил вас по голосам, по характерному шуму. Конечно, если вы будете ходить босиком и объясняться знаками — тут уж мне несдобровать. А пока меня выручают мои «датчики» — слух, память, тепловое излучение,

электрическое поле. Я не вижу ваших лиц, но, как правило, всегда чувствую, где кто и что он делает...

— Подождите, Серафим Андреевич, — вдруг вспомнил Володя, — а рукопись? Я ведь видел однажды, как вы что-то писали.

Ансимов вытащил из-под подушки картонную папку, распахнул ее и показал первую страницу. Все увидели крупные, неровные строчки, порой залезавшие одна на другую. Так писал бы натренированный в письме человек при абсолютной темноте. Однако все слова были разборчивы и даже знаки препинания стояли на своих местах...

— Вот это да... — задумчиво произнес Володя, улыбаясь чему-то. Степан закашлялся.

— Вот из-за таких, как ты, майор, люди и погибали зазя. Воевать не умели, гады, мать.., а командовали, — проворчал он. — Из-за вас всю Расею нашей кровью обмыли!..

— Ну, загнул... — усмехнулся Володя, глядя на Воронцова, ища его реакцию. — Да ты сам-то воевал?

— Не воевали, а знаем, — заверил Степан. — Вон из некоторых деревень в сорок первом половина мужиков полегла, видал! А все из-за этих вот — португеи понадевали, а сами не знают, с какого боку заряжать. Ишь, докладывает: от полка сотня осталась...

Виктор растерялся даже: неужели Степан настолько глуп? Или прячет за своей жестокостью что-то другое? А может, повторяет за кем-то давно усвоенное...

— Ну что ж, если вам легче станет, — вдруг произнес Ансимов, — подойдите и ударьте слепого, беспомощного старика.

— Да какой ты слепой! Симулянт! — неслось злобное из угла.

— Вот спасибо! Укусил! — обрадовался Ансимов. Казалось, настроение его несколько не ухудшилось.

Воронцов, повернув голову, сурово глядел на Степана, тот отвел взгляд, с усмешкой на губах зыркал глазами по потолку, словно проверял качество побелки — ждал, когда Виктор отвернется. Надо будет, подумал Воронцов, поговорить с этим «строителем» где-нибудь в коридоре, чтоб не распускал язык.

— Дурак ты, Степан, — сказал Володя. — Ты и себе-то, наверное, ни в чем не веришь...

— Погоди... — приподнялся на локте Стародуев, но тут дверь отворилась и в палату вошел профессор, за ним протиснулись врачи и сестра. Начинался утренний обход.

...С того дня, когда Ансимов рассказал свою историю, в курилке не затихали споры: действительно ли старик слеп, или привирает. Больше всех горячился Степан, который доказывал, что по всем приметам получается, что старик кое-что зрит. Степану верили и не верили, но все сходилось на том, что майор какой-то необычный, даже если он и видит чуть-чуть. Он словно железный — живого места нет, весь изрезанный, еле ноги таскает, а шутит, посмеивается, других подбадривает, советует, как лучше лечиться, готов поделиться всем, что имеет, лишь бы поддержать человека в беде, помочь...

Больные в отделении теперь так и называли его уважительно — «майор». Только Степан да еще два-три философа из курилки упорно именовали Ансимова «артистом». В палате же, где майор лежал, ничего не изменилось, лишь в «Степановом углу» наступило заметное затишье, после того как его хозяин имел в коридоре содержательную беседу с Виктором и Володей.

Воронцов не был склонен совсем исключить долю логики в рассуждениях Стародуева, но чем дольше он наблюдал за Ансимовым, тем все больше убеждался в заблуждении местных маловеров. Наблюдая, Виктор сделал для себя ряд открытий.

Иногда майор долго сидел, свесив ноги с кровати, и забывал, с какой стороны от него подушки. Тогда он как можно незаметнее тянул руку сначала в одну, потом в другую сторону, чтобы «привязать себя к местности». Днем старик иногда выходил в коридор, не пользуясь принесенной для этого палкой. Это было притчей во языцех. А Виктор вспомнил, что в одну из первых же ночей он видел, как Ансимов очень тихо, стараясь никого не разбудить, шел с палкой в руках к дверям: поводья палкой перед собой, он медленно передвигал ноги в мягких тапочках. Майор, как разведчик, изучал свои пути ночью, чтобы днем ходить по ним с уверенным и независимым видом. Он не хотел выглядеть слепым!

Понял теперь Виктор и природу ночных шорохов, когда-то мешавших ему спать.

Проснувшись среди ночи, майор не знал, день или ночь сейчас. По дыханию спящих людей время не определишь. Тишина, среди которой он пробуждался, угнетала его, пугала неопределенностью. Ему казалось, что, кроме зрения, он потерял и слух, и он проверял себя невинными звуками — шелестел тетрадкой, трогал предметы на тумбочке, на своем ли они месте. А в том, что он делал это иной раз громче, чем надо, скрывалась жажда контакта, ожидание ответа от соседа, слов о том, что все в порядке, что сейчас уже утро и скоро все пробудится, мир наполнится знакомыми звуками...

«Все-таки он ста человеком спас жизнь, и они смогли потом опять воевать, потому что он из тех, кто знает цену человеческой жизни, кто любил людей и любит их сейчас. Он отдал войне все, воевал до последнего...» Воронцов в мыслях давно уже простил старика, и, кажется, все простили... Им важно было посмотреть на него и на себя со стороны, сопоставить жизнь свою и этого слепого и беспомощного человека, который уже никогда не будет иметь от факта физического существования и сотой, даже тысячной доли того, чем смогут и будут располагать они все — и Виктор, и Щукин, и даже «незрячий» Степан.

Володя теперь часто разговаривал с Ансимовым о войне, о былых сражениях, а тот вспоминал все новые подробности своей фронтовой жизни. Виктор, лежа в кровати, слушал Ансимова, не выдавая своего присутствия, в отличие от Володи не перебивая вопросами. Майор

умел рассказывать, опыт учителя помогал ему, и Володя с Виктором были его единственными учениками и благодарными слушателями. Для них этот слепой майор был частью их собственной жизни, их тревожной юности военных лет. Многих свидетелей той тяжелой поры повидали они и раньше, но давно уже трагизм и жестокость войны не представляли перед ними так наглядно, давно так не напоминали о себе, как сейчас, почти тридцать лет спустя.

...В день выписки Степана Стародуева в палате был тихий праздник, чувствовалось какое-то особое настроение. Слово стены расширились, стало больше света, воздуха.

Когда, переодевшись в старомодный костюм и засунув ноги в разношенные толстые сапоги, собрав в огромную, размером с бредешок, авоську свои пожитки, Степан направился к выходу, он бормотал себе под нос что-то похожее на «счастливо оставаться». Но, почувствовав на себе взгляды, потоптавшись, подошел к кровати Ансимова.

— Слышь, майор, ты не помни зла на меня. Может, чего не так сказал — с кем не бывает... — Не дождавшись ответа, он пошел к дверям, но вдруг быстро вернулся, волоча за собой авоську, и уже почти кричал, никого не стесняясь, свое: — Но ты все же скажи честно, папаша, — ведь видишь, а? Ну, хоть немножко видишь, а? Молчишь, с-с... Ну, бог с тобой, ври дальше...

Степан громко хлопнул половинкой двери. Володя вскочил, возможно, хотел догнать, вернуть, чтоб извинился, но тут его сдержал голос майора:

— Оставьте, ребята... Ведь это же комплимент... мне.

Невероятно: старый майор плакал и улыбался одновременно. По лицу его текли слезы, а сам он почти смеялся, широко и счастливо, как настрадавшийся школьник, получивший наконец хорошую отметку.

## ПАТРУЛЬ ИДЕТ ПО ГОРОДУ

Ее любили, боялись, уважали, ненавидели. Находились и такие, что просто завидовали ей, хотя чему тут конкретно можно было завидовать — не всякий смог бы сказать. Завидовать женщине небольшого росточка, миловидной на лицо, но и не больше, одной растрившей сына и по ночам шьющей ему из кроенного-перекроенного костюмчики и халатики для школы, для пионерлагеря, перебивающей от зарплаты до зарплаты, и без того крохотной после очередного займа и вычетов?.. Она бы, наверное, рассмеялась, услышав про такое. Хотя...

С той поры, как избрали районным депутатом, в особенности после ее перехода в райисполком — это произошло незадолго до войны, года за три до нее, — она словно перешагнула порог, за которым открылось главное, сокровенное в ее жизни, где, собственно, и началась ее

деятельная, по-новому осмысленная жизнь. Привыкшая управлять пятью десятками малышей да немногочисленными работниками детского сада, она обрела вдруг право руководить сотнями людей, взрослых, самостоятельных, зрелых, а через них — и тысячами косвенно с ними связанных, на предприятиях и в учреждениях района, в школах и больницах, на стройках и заводах. Она остро ощущала свою возросшую сопричастность людским судьбам, важным переменам в них, и это делало строгой, приучало к особой собранности и внимательности и в то же время наполняло ее душу тихой гордостью за себя, за своих родителей, воспитавших ее такой надежной и нужной людям.

На свете есть два извечных типа людей, находящихся на службе, — те, кто просит, выбивает, кричит о себе, стараясь показать свою незаменимость, и те, кто не просит, предпочитая ждать, пока на них обратят внимание, заметят, оценят по достоинству или хотя бы поблагодарят. Она была из второй когорты, и когда ее заметили и выдвинули, она была счастлива, ей казалось, что ее принципы «не выпячивать заслуги» и «не напоминать о себе» доказали свою жизненность. И хотя позже много было у нее поводов усомниться в этой своей линии поведения, она отбрасывала их как случайные, временные недоразумения. В ту пору ее переполняла благодарность, ей казалось, что от нее сейчас зависит многое, от ее внимательности, дисциплинированности, простой порядочности, — и она старалась делать все так, чтобы потом никто не мог упрекнуть ее в недоблках. Пусть передадут, пусть больше, чем меньше, — таково было ее правило. Вела ли она прием, разговаривала с посетителями, вникая в их заботы и печали, дежурила ли ночами в исполкоме у телефонов, не разрешая себе сомкнуть глаз, — она ощущала себя на капитанском мостике огромного корабля величиной с район, иногда боялась сделать что-нибудь не так, но то были минутные сомнения, в основном надеялась на себя, на интуицию и природную смелость, чувствовала, что создана для такой работы, где кабинетная тишь была всего лишь занавесом, кулисой, за которой бушевали бури и ураганы, подстерегали самые настоящие опасности и риск. Начальство ее ценило, председатель исполкома иной раз даже хвалил при людях, ей делалось неловко и в то же время приятно, это ее окрыляло, и она работала с упоением.

Ей нравились новые обязанности, нравилось фиксировать все происходящее в районе, к чему теперь имела доступ, она с удовольствием, где нужно, вмещивалась в ход событий, принимала решения, четко соблюдая государственные интересы и не забывая при этом о правах каждого отдельно взятого гражданина.

Она вся ушла в работу, как тогда, десять лет назад, пропадала допоздна в детском саду, когда умер муж и она осталась с четырехлетним ребенком одна в пустой квартире, из которой вскоре

пришлось перебраться в коммуналку с двумя семьями — не столько из-за невыплаченного пая (отныне ее будет по пятам преследовать бедность), сколько из-за бессонных ночей, горестных воспоминаний, тоски по рухнувшему семейному очагу.

Когда-то, в юности, ей прочили судьбу певицы или концертмейстера, она пела в церкви, откуда ее взял к себе сам Свешников, тогда еще не признанный, вынужденный дважды в год отчитываться в репертуаре своего хора перед парткомом Дорпрофсожа.

Через два года, когда Свешникову сказали, что солистка из рабочего хора, машинистка управления дороги Кузнецова, вышла замуж, он поморщился: «Жаль. Рано. Могла бы стать артисткой. Голос хороший. Жаль...»

Теперь, когда она брала в руки гитару и начинала напевать, обычно через четверть часа импровизация прекращалась: скорбь по невозвратному прошлому делала звуки фальшивыми, аккомпанемент звучал резко, отрывисто-горько — она вешала гитару на тыльную стенку буфета и старалась не думать о ней.

Время было тревожное. Пала республиканская Испания, у всех на устах были слова «озеро Хасан» и «Халхингол», газеты, еще десять лет назад в разделе мелкой хроники сообщавшие о смешных претензиях какого-то пучиста в Мюнхене на «искоренение большевизма» и мировое господство, теперь усиленно занимались им как серьезной проблемой для мира в Европе. Вскоре после финской кампании в райисполком пришло распоряжение о разрывании строительства бомбоубежищ. Кузнецова, получив секретный пакет и расписавшись, тут же пошла к председателю, и тот отменил начавшееся совещание, извинившись перед присутствовавшими, и вызвал к себе военкома.

С той поры она была напряжена, как струна, бумаги приходили одна решительнее другой, и по ним было видно, что надвигается большая беда, которая затронет всех.

Минувшее десятилетие, славные тридцатые годы, казалось теперь легким беззаботным сном...

Это было время, когда по выходным дням в жаркое лето все жители городской окраины устремлялись в парк, дачи еще мало у кого были; какая это была радость — забраться в лес как можно глубже и дальше от соплеменников, от шума и гама улиц, расстелить прямо на траве одеяло, скинуть тесную обувь и уткнуться бездумным взглядом в необъятную ширь белесого неба, где стрекотали тихоходные самолетики. Иногда такой самолетик пролетал совсем низко, рокоча своими пятью цилиндрами, и на отдыхающих сыпались листовки, призывающие немедленно оформляться в Осоавиахим. Дворники немом грозили кулаками в небо, косясь на фронт работ — усеянные белыми лоскутками газоны и тротуары. Они были за Осоавиахим,

исправно платили взносы, но возражали против свалившейся с неба работы...

Иногда мимо валяющихся с газетами в руках горожан проходили толпы смуглых людей с серьгами и монистами. Кучками переходя от одеяла к одеялу, они хором предлагали услуги — от предсказания погоды до поисков счастья в личной жизни. «Спасибо скажешь, красавец!» — уходя, уверяли они размечтавшегося и ошалевшего от радужных перспектив человека в коротких брючках с подтяжками, попутно прихватывая за спиной ложки, только что покоившиеся на одеяле...

Проходили мимо явно подозрительные личности — в надвинутых на глаза кепках, с мятыми папиросками в углу рта, засунувшие руки в карманы неглаженных пузырястых брюк. Тогда люди подвигали к себе чайники, посуду, накрывали телами самое ценное, что могли укрыть, и терпеливо выжидали, пока пронесет такого мимо. Вспоминали, переговариваясь шепотом, сколько раз у кого-нибудь на дворе пропадали простыни, вывешенные для просушки, к кому залезали, кого высматривали...

И все равно радостный, бодрый дух поколебать не удавалось ни грозе, внезапно раздражавшейся над головами горожан, ни набегам попрошаек, на лице у которых было написано: лучше дай добром, не то отниму силой.

Длинные очереди желающих испытать себя выстраивались у парашютных вышек... Прыгали все посетители, достигшие совершеннолетия, даже девушки, безжалостно мявшие ради этого новехонькие файдешининовые и креп-жоржетовые платья... На бесчисленных летних стульчиках молочных кафе восседали под грибами-зонтиками юные отпрыски из заводских семей и попивали свежайшую простоквашу из сине-белых стаканчиков... В сумерках зеркальная гладь парковых прудов вдруг с треском под общее «ах!» озарялась многоцветьем фейерверков... Все возвращались по домам, истомленные негой выходного дня, праздным ничегонеделанием, вечером пили чай с вишневым вареньем — его явно предпочитали остальным — и заводили патефоны, ставили любимые пластинки с фокстротами Рэя Нобля и песнями Бадридзе или Утесова, затевали разговор о новинках Москвошвея, о применении итальянцами газа «иприт» в Абиссинии, о плохо просолившейся в прошлом году капусте, о новом фокуснике Кио, из-за которого не достать билетов в цирк, о бархатных кепи, о Лемешеве и его поклонницах...

Быт этот был как на века взведенная пружина, и жизнь одногодучих поколений, при которых мало что менялось, словно доказывала традиционность и незыблемость этого развития по кругу, а отнюдь не по спирали, как темнили ученые, о которых ходили анекдоты — «ученых много, да умных мало».



Молочницы из пригорода, державшие коров, носили по домам синеватое молоко, давали пробовать на крышках бидончиков, спорили с хозяйками, божились, что не снятое оно, а те норовили в виде платы за сервис сбить знакомым им Пашам и Дусям ношенные или вышедшие из моды шляпки, кофты и мужнины стоптанные ботинки — городское шло почти все в деревню «на ура». На окраинах по дворам в зеленых цистернах, встроенных в телеги, запряженные мохнатыми лошаденками, развозили керосин, тугой зеленовато-синей пенистой струей лившийся в подставленные бутылки и фляги. «Старье-о бере-о-о-м!» — не успевал стихнуть слева этот клич сборщиков макулатуры и ношеного, среди которого попадалось и краденое, как жители вздрагивали от зычного возгласа справа, напоминающего Стенькину вольщину, — «Э-а-стекла-а вста-вля-а-ать!» Иногда для поддержания коммерции вставляла посылал впереди себя проворного шкета, задачей которого было тихонько, камушком издали бить форточки зазевавшихся горожан. Но чаще вслед за этим нахальным возгласом появлялась странная во всех отношениях фигура с ящиком на плече и крохотным стеклышком в нем, для вида, — а на деле в ход вступали два острых глазца и уникальная память на то, где что лежит, какие вещи поценнее...

Шиком, а также экзаменом на зрелость (после парашютной вышки) считалось в присутствии зазнобы сердца прыгнуть на ходу на подножку трамвая и сделать ручкой или помахать кепкой. Белейшие милиционеры в шлемах африканских колонизаторов реагировали и штрафовали храбрецов на сумму, равную стоимости двух билетов в кино. Газеты на последних полосах печатали случаи особо дерзкого поведения на улицах и на рельсах, а также всякие привокзальные истории. По радиосети Коминтерна под чарующие звуки гавайской гитары томный женский голос предлагал взглянуть на одежду «последних фасонов, только что поступившую в Мосторг», единственный тогда, на Петровке. На полках обувных магазинов ряды галош сверкали черным паккардовским лаком и пламенели малиновым закатом традиционной фланелевой футеровки. Парусиновая обувь, набеливаемая зубным порошком «Детский», заметно уступала свои позиции модным туфлям с дырочками моделей «Кавказ» и «Рица». Женщины украшались беретами «под Мэри Пикфорд», мужчины отращивали усики а-ля Конрад Вейдт. По вечерам представительницы слабого пола с силой стирали береты в мыльном порошке «Тунис» и натягивали их на глубокие тарелки для сушки с сохранением формы. Мужчины в липком поту просыпались и трогали усики: на месте ли.

По булыжным мостовым городской извоз в несколько сотен лошадей, в подводах, пронумерованных знаками на спинках

извозчичьих козел, перевозил с баз в магазины, детские сады и точки общепита скоро- и не так скоро портящиеся продукты, древесный уголь и лед, заботливо прикрытый клеенкой внушительных размеров. После гужевого транспорта шли по разряду велосипедисты, они тоже имели номера, прикрепленные к сиденьям, и нередко трель милицейского свистка оповещала всех гуляющих, что еще один «темный», без номера, велосипедист попался с поличным.

В скверах искусные предприниматели с задатками художников вырезали из черной бумаги по желанию гуляющих листовые профили: чем выше гонорар (сколько не жалко?!), тем ближе перемещался портрет к лику кинозвезды. Уличные электрические провода были обмотаны запутавшимися в них воздушными змеями, их хвосты из мочала, уныло свисавшие к земле, подтверждали истину, что город — это не деревня с ее просторами и шири и ввысь.

Толпы зевак ходили смотреть в овощные магазины диковинные заграничные весы — большие, круглые, со множеством делений: они показывали вес даже крохотной морковки! «Хорош безмен, да вот некарманный», — крутили головами рыночные торговцы, поднаторевшие в обращении с различными весовыми приборами.

На углах и перекрестках мороженщики — рослые дяди с кулачищами молотобойцев, в белых детских фартучках — выдавливали похожей на ручную гранату формочкой синеватое мороженое, прилепывали с другой стороны вафельный кружочек с надписью «Вера», «Маша», «Люба» и вручали колесики счастливой детворе, которая тут же начинала эти колесики проворачивать, слизывая содержимое и непрерывно добывая информацию — сколько у кого еще осталось.

Участились мирные взрывы. На дверях подъездов наклеивали предостережения по части примусов и использования в них бензина. Дворники боролись с домоуправами за длину поливочных шлангов, а тихие дачники на заре боролись за урезание оных в пользу своих участков и зреющей на грядках клубники. По вечерам все слушали, как в репродукторах задиристый голос Хенкина читал очередной рассказ Зошенко или Ленча. Иваси были любимой закуской и взрослых и детей, последним, чтоб не обидно было, по праздникам имитировали свои графинчики, наливая в них сладкий чай.

Дети переживали за Мальвину и Пьерро, и каждая девочка мечтала быть Мальвиной на школьном празднике и никто не хотел быть Буратино, а тем более папой Карло. В кинофильмах молодежь бодро прыгала с самолетов, штурмовала далекие моря, покоря враждебную дикую природу, и обещала, что «будет селам и станицам много рыбы, йо-о!»

На большом экране взошла звезда Любови Орловой, русского феномена мирового масштаба, открытого и возвращенного Григорием

Александровым. Все напевали, мурлыкали мотивчики из кинокомедий. Орлова звала провинциалок в большую жизнь, на производство: «нам ли стоять на месте!», а Валентина Серова осваивала Дальний Восток...

Все это отрывочно, словно в кадрах то и дело рвущейся киноленты, приходило ей на память уже потом, в самом разгаре войны, и отсюда, из лишений и горя, всеобщего гнева и безмерных людских страданий, время то казалось каким-то глупо счастливым в своей неповторимости и наивности, в беззаботном непредчувствии надвигающейся грозы.

...1 мая 1941 года Кузнецова, как всегда, была в рядах праздничной демонстрации. Как всегда, отвечала за часть районной колонны, тронувшейся от здания исполкома в неблизкий путь к Красной площади. Когда спускались вниз по улице Горького, справа в узкой улочке Станиславского увидели, что германский посол фон Шуленбург тоже, как всегда, флаг вывесил: красный, а посредине в белом кружке закрючка какая-то — наподобие особого рыболовного крючка. Как всегда, мужчины заспорили. Флаг-то красный, а не какой-нибудь. Это как-то успокаивало. И потом в названии правящей партии есть-таки слово «рабочая» — нет, не дадут немецкие трудящиеся воли поджигателям войны, не дадут напасть на рабочий класс другой страны, пролетарская солидарность скажется.

Были и другие мнения.

И они вскоре подтвердились.

Всех интересовало: надолго ли. Зыбов, герой Халхин-Гола, владевший именным оружием, сказал: «через пару месяцев управимся». Председатель МОПРа болгарин Михайлов поправил: «война — на несколько лет». Его обвинили в поражестве, но он не стал спорить, а ушел на фронт вместе со многими другими работниками исполкома.

Когда в стране ввели трудовую повинность, означавшую открытие еще одного фронта — трудового, в райсовете совещались недолго. Кого-то надо было поставить во главе отдела учета и распределения рабочей силы. Назвали Кузнецову, хотя отдел впрору было поручить мужчине, притом бывалому, тертому. Знали: она не откажется, не из таухи. Не отказалась. К тому же понимала — сейчас на многих участках надо было заменять мужиков, а те мужики, что в нужный момент попрятались кто куда, для нее не существовали.

Донимали холод и голод. Сначала холод — зима сорок первого была на редкость суровой. Котельные не работали, радиаторы на всякий случай снимали и клали на пол — до конца войны. В декабре исполкому разрешили пилить деревья в парке культуры — для буржук. В один из выходных Кузнецова попросила сына достать из стеного шкафа его старые санки с сиденьем-креслицем, окруженным железным обручем и битым дерматином с тесьмой и помпончиками...

...В лесу, проваливаясь по колено в снегу, ходил лесник парка и указывал, какие деревья можно пилить. Многие уже успели

заготовить свою норму и везли на санях к выходу, а она все не могла никак начать, все оттягивала этот разрушительный момент.

— Ну, чего нюни распустила? — прикрикнула на нее Колычева из собеса, с ужасом взирающую, как редеют вокруг деревья и становится светлее, словно ненастное морозное утро уступало место яркому полдню. Она поправила выбившиеся пряди волос и как-то злобно повторила: — Ну! Ты думаешь, тебе одной жалко, да? А остальные дикие варвары. А мы-то перед войной за эти вот деревья с директором дрались, чтобы уход был, деньги в райфо выколачивали... Вот и выходили... Для печки.— Она сама готова была всплакнуть и отвернулась на всякий случай, чтобы не видели люди ее глаз, не поймали на той же слабости духа, которая охватила сейчас почти всех...

У Кузнецовых работа шла вяло, еле набрали две вязанки... Сын вез, мать подталкивала. Санки порскали, видимо, погнулись полозья от бесконечного перекаладывания в стенном шкафу, тащить их было не под силу, и мать и сын часто останавливались, не сговариваясь, дожидаясь, покуда не пройдет в мышцах ощущение ноющей оконечности, это чувство отупения и безразличия ко всему, переполнявшее в минуты критического напряжения сил...

...Кленовые чурки колосили легко, дымок от них был приятным, но сгорали они, как спички, быстро. За полчаса их уходила в печку целая гора. Она с трепетом думала о том, сколько надо деревьев людям изрубить на дрова, чтобы вскипятить воды и согреться хотя бы на один вечер...

А потом, тоже в начале войны, с ней приключилась история, возникшая в результате необычного поручения. Возможно, председатель хотел ее отвлечь от монотонной работы, от постоянных стрессов, а может, брал в расчет ее интерес к миру искусства, музыкальную одаренность.

Известного певца из филармонии, увешанного уже наградами и званиями, пригласили выступить перед красноармейцами в клубе студенческого городка — это был ближайший зал между казармами и вокзалом. В соседней школе проходило формирование зенитных частей. Послали машину за заслуженным артистом, орденосцем. Она должна была сопровождать его от дома и до дома — поручение председателя Лекадина.

Он вышел из дома в ворсистом бежевом пальто, шея замотана шарфом, но на голове, несмотря на мороз, — берет, лихо сдвинутый к уху, любимый наряд тенора.

В клубе сначала выступала самодеятельность — струнный оркестрик, сыгранный по цифровой системе, акробаты, работавшие больше в партере — на поддержки сил не хватало, а потом один старшекласник сыграл этюд Рахманинова. Бойцы старательно хлопали, но косили глазами на левую кулису: приехал ли знаменитый певец, которого все ждали...

Но вот занавес закрылся, и все поняли, что впереди главная часть программы. Зал притих, полный уважения, любопытства и собственной сдержанности.

...Когда следом за Еленой Ивановной и ведущим на сцену вышел певец, он первым делом поискал «дырку» в занавесе, важную в любом приличном театре коммуникацию, соединяющую волнующегося перед выходом актера с зрительным залом и позволяющую определять не только заполненность кресел, но и настроение аудитории. «Дырки» у простодушных студентов в клубе не было, и тогда певец просто отодвинул край занавеса и выглянул в образовавшуюся щелку. Кашлянул артистически и кротко, с сожалением посмотрел на Елену Ивановну и конференсье.

— Вы соображаете,— сказал заслуженный артист,— что вы мне предложили? Петь в этом сарае?..

Она взорвалась, нервы сдали:

— А вы соображаете, перед кем петь будете? Люди сразу отправятся на фронт, на передовую...

Он взглянул на нее, такую маленькую, с дрожащими губами.

— Ну, знаете... Вы не знаете, да и знать не можете...

— Извините, знаю, сама пела когда-то у Свешникова.

— Тогда вы должны понять...— Певец обращался уже к конференсье, но тот удачно отвернулся, вынимая соринку из глаза.

— Понимаю,— сказала она,— только то, что от одной-двух арий ничего с голосом вашим не случится, а люди и так знают, что здесь не зал Чайковского.

Певец развел руками. Спор затягивался.

— Где у вас тут телефон? — наконец выложил он последний шанс.

Но первой трубку сняла Кузнецова:

— Лиза, соедини.

«— Скажи,— говорил Лекадин,— скажи этому слуге народа, что все отнимем, и звание и награды. Был всем, станет никем...»

Кузнецова медленно опустила трубку на рычаг.

— Ну, что сказал ваш руководитель?

— Он просит вас не омрачать настроение сотен бойцов, многие из которых услышат вас в первый и, возможно, последний раз,— смягчила Елена Ивановна.— Если у вас есть против этого хоть один довод, то звоните вашему руководству, только будьте честны и передайте наши аргументы тоже...

Она тяжело опустилась на продавленный стул, сжала руками виски, что с ней бывало не часто.

Певец махнул рукой и стал разматывать шарф. «Ну, будь по-вашему».

И снова та же работа, снова прокуренная комната с обшарпанными, давно не крашенными дверями, в которую били костылями

псевдоинвалиды войны, снова угрозы разъяренных спекулянтов и жуликов, выловленных милицией, и визг девчонок-инспекторов, грудью защищавших свою Елену Ивановну от разбушевавшегося «огородника» с липовой бронью, и ночные перроне вокзалов с отправляющимися поездами — на запад, на рытве заграждений, на восток, к эвакуированным заводам... Десятки больших и малых дел как-то незаметно и сразу навалились на нее, помимо основной работы, — она проверяла отапливаемость школ, вновь открытых в 1942 году, отвечала за организацию концертов в госпиталях, ночью присутствовала при сжигании талонов продовольственных карточек в котельной шелкоткацкой фабрики и подписывала акты, пристраивала детей погибших фронтовиков, оставшихся без семей, в детские дома, размещала эвакуированных специалистов на местных предприятиях, дежурила в дружине противоздушной обороны и даже выступила в суде по делу женщины, вынесшей с хлебозавода буханку хлеба... Она не жаловалась на трудности, понимала, что сейчас война, границы деятельности отделов исполкома размыты, каждый человек на вес золота, люди надрываются, а она молодая, еще тридцать пока, сил хватит, должно хватить...

Кузнецова закурила в первый же день войны, голос ее стал грубее, она не расставалась с мундштуком и сама ловко вертела самокрутки из филичевого табака — изобретения военных лет, ее руки, одежда пропахли табачным дымом, и это слегка уравнивало ее шансы в общении с мужчинами — сотрудниками исполкома. Однажды она застала сына дома за неблагоприятным занятием — тот высыпал содержимое оставленных ею чинариков на газетную полоску. Крикнула:

— Увижу, что куришь, — излуплю!

Она вслушалась в эхо собственных слов и поразилась, что смогла их произнести, — ведь она за всю свою жизнь пальцем его не тронула... Никого, никогда.

Голод мучил не меньше, чем холод зимой. Когда работникам исполкома разрешили летом сорок второго заводить огороды, получились они однообразными — морковь и свекла. Председатель поинтересовался, в чем дело, и был ошарашен: в семьях варили и ели проросшие картофельные «глазки» — срезы, предназначенные для высадки в грунт. Ели яд, как скажут потом врачи.

А у Кузнецовых дома бывали и «котлеты» из картофельных очисток. Сама она уже не стала заскакивать при случае домой перед дежурствами, знала, что из сваренного ею остались «одни доньшки», забивала голод табаком и чаем — единственным, что могла предложить председателю и ей старуха Лексевна, числившаяся по штату уборщицей, но выполнявшая роль и курьера, и сторожа, и даже дежурной в приемной...

Ситуацию с голодом оценили и те, кто норовил избежать

трудмобилизации, от инспекторов пытались откупиться — «забывали» на столах деньги, продуктовые и хлебные карточки, подкладывали хлеб, сало; одну девчонку пришлось выгнать: оказалось, не выдержала, стала брать.

Кузнецова привыкла к ночным бодрствованиям, дежурства приучили к этому, ей нравился погруженный в темноту город — светомаскировка была еще обязательной, — мысли выстраивались ясные, четкие. Идя в исполком или направляясь домой, она намечала распорядок дня на завтра.

Изредка ее останавливали патрули, и тогда она не без гордости терпеливо ждала, пока солдаты в темноте, еле разрываемой слабым свечением звездного неба, подсвечивая карманным фонариком, читали ее пропуск. Она имела право ночного хождения по городу, пропуск был подписан военным комендантом, все было по норме, и когда солдаты козыряли ей, возвращая документ, она непременно говорила: «Правильно поступаете, товарищи, бдительность необходима, как никогда».

Однажды произошло вовсе непредвиденное, когда она вот так же ночью возвращалась домой с вокзала, проводив очередной эшелон с мобилизованными. Машину она отпустила у угла переуллка, теперь до дома было недалеко, и она не захотела будить жильцов шумом мотора.

Проходя мимо забора возле парикмахерской, она услышала стон, негромкий, подавленный, но отчетливый в ночной тиши. Всмотревшись, она увидела в первую очередь сапоги, разметавшиеся по тротуару, а потом уже скорченную фигуру в плащ-палатке.

Она медленно склонялась над сидящим в такой нелепой позе солдатом.

— Что с вами, товарищ солдат? — Ей показалось, что линия фронта опять недалеко. — Вы ранены?

Фигура зашевелилась, человек приподнялся на локтях, и она в испуге отпрянула: это была женщина, она стянула с головы пилотку, и на свет появились яркие в темноте льняные волосы. Юбку ее распирал тугий налитый живот.

— Помогите... Я не рассчитала, не дойду, и вот... Здесь вот, в грязи... Не думала, что так...

— Погодите. — Кузнецова уже оценила ситуацию и мгновенно решила, что делать. — Потерпите, соберитесь, я быстро...

Она решительно повернула в сторону Краснорборской больницы. Пошла, почти побежала и подняла там тревогу.

...Когда женщину уложили на носилки, она слабой рукой схватилась за рукав спасительницы: «Имя... Как вас зовут?» «Елена». «Лена? Будет дочь — назову Леной». Она заплакала, наверное, потому, что не верила до последней минуты, что возможно такое чудо, и еще, по-видимому, боялась болей. Кузнецова пожала ее плечо

и сказала что-то вроде «у всех баб на роду написано» и «ничего страшного» и стояла, провожая глазами пожилых санитаров, уносивших роженницу...

На следующее утро ее вызвал председатель.

— Слушай, Кузнецова, ты чего это ночью в больнице делала?

— А вам уже доложили, или это вошло в сводку ночных происшествий, Иван Афанасьевич? — Она пожимала плечами.

— Да ничего подобного, позвонил главврач, говорит, пациентка родила дочь, назвала Леной и хочет, просто требует свидания с тобой...

И вот где-то живет сейчас Лена сорок второго рода рождения, которая могла бы быть и не Леной и появиться на свет божий в темной сырой ночи озябшего и притихшего переулка...

Ей не раз приходилось лично обходить жилища уклонявшихся от работы, тщетно вызываемых повестками в исполком. Обычно она находила нужные слова, трогавшие сердца людей, как правило, ей удавалось задеть в человеке глубинные струны, не прибегая к патетике, к высокопарным фразам... Однажды она взялась пойти на самую околицу, ее предупреждали — микрорайон трудный, сплошь одни частники, бывшие владельцы пошивочных мастерских. Она могла бы послать инспекторов, загородиться худенькими, как мышки, девчонками, но не сделала этого. Председатель, узнав ее намерения в последний момент, распорядился, чтобы в сопровождение дали милиционера, фамилия его была, кажется, Козлов или Карпов... Уже в сумерках подходя к одному из домов — здесь у всех были собственные бревенчатые рубленые избы, — они услышали в сенях пьяный рев и отборную матерщину... Козлов, до этого стеснительно державшийся рядом, вдруг выдвинулся: «Пустите-ка, я сперва».

В ответ на стук в дверь грохнул выстрел — он предназначался ей, настойчиво тревожившей это осиное гнездо повестками, вызовами и приводами... Она рыдала, как школьница, потерявшая брата. С того момента она простилась с наивной верой в свою способность противостоять злу словом, увлечь всех до единого той великой целью, к которой стремилась сама, а в повседневном быту исповедовать то, что исповедовала лично она и считала единственно возможным — ж и т ь по п р а в д е. Разные это были вещи — уговорить детей учиться в неопленной школе и заставить барышника взять в руки пилу или лопату, работать для общества. Что-то в ней переломилось, перегорело, она стала зорче, молчаливее, предпочитала больше слушать, а если говорила, то коротко, сдержанно.

...Когда в честь победы под Сталинградом выдавали скромный дополнительный паек, Кузнецовой в списке не оказалось. Председатель устроил разнос заведующей общим отделом Босоногиной, но та, исправив эту ошибку, стала все время ошибаться в других случаях. Знала, что Кузнецова из гордости теперь уже не пойдет



жаловаться, и угадала. А та не захотела быть до такой степени бабой, чтобы плясать под дудку другой бабы. Пришлось бы самой себя презирать. С той поры так и пошло — это называлось на языке ловчил «наша Елена Ивановна заработалась».

...«Ничего, проживем, — говорила она себе. — Главное, наши уже приближаются к границе, переломился ход войны. После войны предъявим счет всем мошенникам, мы теперь знаем их в лицо, это важно».

Но получилось иначе.

Председатель Лекадин умер во время сессии. Сидел в президиуме, положил голову на сплетенные пальцы, на стол, и больше не поднял ее. Разрыв сердца — называли тогда.

Люди обладают различной степенью активности, имеющей к тому же различную направленность. Бывает, что активность направлена больше вовнутрь, обычно люди этого типа в круги, пользующиеся доверием руководства, втираются сами и оттирают тех, кто просто спокойно стоит рядом. Начальство видит неоднородность движений, но часто предпочитает наблюдать, не вмешиваясь, предоставляя событиям развиваться стихийно. Новый председатель был отменным наблюдателем, а в быту — жизнелюбом. Движениям Босоногиной он предоставил полную свободу, не обремененный знаниями об истинной загрузке каждого из заведующих отделами исполкома. У Кузнецовой появились клички «бессребреница» и «святая».

Кузнецова понимала, что обижаться на нового председателя она не вправе, но работать стало труднее. Однако она не унывала, не давала себе послаблений и вплоть до самой Победы, когда ее отдел был ликвидирован, работала с прежним усердием.

Прежнее указание Лекадина о представлении Кузнецовой к награждению медалью «За трудовую доблесть» было уточнено. Босоногина ахнула от восхищения, когда в июле 1945-го вышел указ об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 41 — 45 гг.», — Вот «бессребренице» и дать... Звучит похоже, аи...

Сама Кузнецова, еще не ведая ни о чем, была счастлива, видя, как сын с почтением разглядывает лежащий на его ладони красноватый латунный кружочек с красно-зеленой ленточкой... Она смотрела и думала о том, как смогли втиснуться в этот металлический жетон бессонные ночи, тревоги, вся боль и надежды прошедших четырех лет...

Тогда же Кузнецова подала заявление о приеме в партию. Это вызвало шок, замешательство. Такой важный отдел вела беспартийная? Как могло случиться? Потом докопались до истинной причины: Лекадин, председатель, увидел, что справляется, доверил. Он вообще доверял людям и при этом редко ошибался.

...Ей поручили возглавить отдел народного образования. Через год — инфаркт, сказались перегрузки времен войны. В район стали

возвращаться люди с Урала и Поволжья, с заводов и фабрик, на которые она посылала трудовые резервы. Некоторые вернулись с желанием мстить. Однажды она нашла в своем почтовом ящике анонимную угрозу. Предлагали убираться из города...

Кузнецова не сдавалась, но и помощи ни у кого не просила. Привыкла справляться сама. Через два года новый инфаркт — и теперь уже пенсия как инвалиду второй группы. Придя в себя после больницы койки, она включилась в общественную работу — то в озеленении улиц, то в детском городке парка, то обходила жильцов с приглашениями на лекции, то собирала актив из учителей-пенсионеров для внеклассной работы с детьми...

Прошли годы.

Однажды в какой-то часовой мастерской на окраине города к окошечку приемщика заказов, не обращая внимания на очередь, протиснулась молодая женщина с высокой прической «под Клеопатру» и, пожаловавшись на спешку, подала мастеру свои часики — «просто невозможно работать без них»...

Очередь проявила понимание: большинство составляли пенсионеры, спешить особо некуда. Когда часовщик, поковырявшись в механизме, отложил часы и стал выписывать квитанцию, то задал стандартный вопрос:

— Фамилия, адрес?

Дама назвала фамилию и закончила про адрес:

— Запишите просто: райисполком.

Какая-то старуха небольшого роста в очках высунулась из очереди.

— Это как же так? Что ж вы исполком позорите, пачкаете честных людей?

Заказчица развернулась в позе Кармен, уперев руки в бока и, краснея лицом, отчеканила:

— А вам, бабушка, уже молчать пора. Это совсем не ваше дело...

Старуха не стала дожидаться конца тирады.

— Нет, ошибаетесь, как раз м о е дело. Я сейчас пойду и узнаю, в каком отделе вы работаете, если вы вправду сотрудник исполкома, и там посмотрим, чье это дело...

Клиентка, с ненавистью глядя на нее и замешательством, пролепетала свой адрес часовщику, который, похоже, был на стороне старухи...

...Говорили, что эту пожилую женщину потом не раз видели в парке, в детском городке, где она отчитывала поваров за плохое качество блюд, а еще ее приметили возле скамей открытой симфонической эстрады, всегда воевавшую с шумными и не слишком трезвыми посетителями, видели и в продовольственном магазине, где с ее помощью наладили работу еще одной кассы...

Правда, по словам выходило, что одета она была всякий раз по-другому, и внешние данные не всегда совпадали, да разве в этом главное.

## ДОЛГОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ХАННЕСА

«Клац-клиц, клац-клиц...»

Ну кто там опять спозаранку гремит ботинками по железной лестнице? А-а, это снова Ханнес из шестой квартиры, Ханзи, как его зовут все. Он спускается вприпрыжку, он торопится в школу. Ханзи никогда не опаздывает, но всегда спешит — так, на всякий случай. Он учится еще в первом классе, и у него нет часов, но время он точно определяет по-своему.

Вот он выбежал из ворот дома на Мольштрассе, смотрит: двери большого застекленного магазина, что напротив, открыты; сквозь прозрачные стены видно, как покупатели катят перед собой в разных направлениях корзинки на колесиках. Значит, уже больше семи, надо поторопиться. Ханзи, как пехотинец, подбрасывает на спине ранец, крепче сжимает в левой руке коробку с завтраком и, быстро-быстро семеня ногами, шагает к перекрестку. Там уже собралось много ребят из их школы, на всех ранцы, а в руках — пластмассовые коробки с едой. Они стоят и ждут, когда на светофоре загорится зеленый человечек в шляпе и можно будет переходить улицу.

Но не успел Ханзи и несколько шагов сделать, как сверху с балкона над ним раздалось:

— Эй, Ханзи-и!..

Это Йоши, младший братишка, кричит. Сегодня суббота, он в сад не идет, и ему скучно одному. Мама в это время играет Бетховена, папа подстригает бороду, к нему тоже не подступишься, вот Йошка и орет каждую субботу:

— Ханзи, вернись! Ты забыл кое-что!

И хотя Ханзи знает, что это хитрость, он на всякий случай останавливается и морщит нос: может, впрямь, оставил что-нибудь. Он хлопает себя по карманам, потом, задрав белобрысую голову, поправляет очки у переносицы и щурится:

— Самолет не трогай, слышишь!

Йоши показывает язык и исчезает в комнате. А Ханзи во весь дух мчится к перекрестку. Он успевает как раз вовремя: тяжелые грузовики и автоцистерны, подкатив к светофору, замирают, недовольно шипя тормозами; загорается зеленый человечек, все ребята берутся за руки и цепочкой перебегают на другую сторону. А там уже спокойно бредут в школу, что находится за ближайшим углом.

Ханзи идет и думает: зря напомнил Йошке о самолете, ломает ведь. У него и так игрушек хватает, каких только машин нет — и английские и голландские. Еле умещаются в громадном ящике.

У Йоши даже полный индейский отряд есть — с вождями племени, погонщиками лошадей гаучо и прочими участниками игры про Смелого Сокола. По утрам Ханзи не раз просыпается оттого, что их деревянная двухэтажная кровать вся трясется: это Йошка внизу опять автогонки на перине затеял, хотя мама запрещала обоим играть в постели.

Ханзи любит своего младшего брата, старается уступать ему, но иногда ничего из этого благородства не получается: что-то уж очень много в последнее время приятного перепадает на долю Йошки и все ему прощается, а Ханзи всегда остается с носом, а то еще и обвинят его несправедливо... Единственная приятная вещь, которая есть сейчас у Ханзи — это русский самолет. «Ил-62», который ему подарил дядя Хорст. Модель смотрится как настоящая машина: через окошечки внутри можно разглядеть кресла и багажные полки. Страшно даже подумать, что будет, если Йошка сломает самолет — у Ханзи совсем ничего не останется...

В школе Ханзи забывает про брата и про самолет.

На следующий день, в воскресенье, Йоши проснулся первым. В комнате было сумрачно и тихо, шторы на окне задернуты. Брата наверху не слышно. Йоши осторожно встал с постели, отошел в сторону и заглянул поверх нее — нет, даже Ханзиного носа не видно. Впрочем, неудивительно: оба спят без подушек, так принято. Попробуй тут рассмотри нос брата. Йоши набрал из ящика солдатиков и автомобилей и снова залез к себе на нижнюю полку. Но играть втихомолку скоро надоело, он сложил все на пол и стал думать, подложив под вихрастую белокурую голову руки.

Сегодня они должны поехать на папиной машине за город, в какой-нибудь лес или парк с замком. А сейчас тихо, из комнаты родителей не доносится ни звука, все еще спят, и будить нельзя — у папы очень тяжелая работа, он инженер, строит подземные склады и гаражи, а у мамы — очень нервная, как она говорит: она переводит книги с русского языка на немецкий. Она уже несколько раз была в Москве и Ленинграде и обещала, когда Йоши подрастет, обязательно взять его с собой...

Тут мысли Йоши прерываются, он зажмуривает глаза от ослепительного света, ворвавшегося в комнату. Дверь распахнулась, на пороге выросла высокая фигура мамы.

— Доброе утро, Йоши! Проснулся? — Она смеется. — Наконец-то, а то уж мы хотели завтракать и уехать без тебя...

Оказывается, в комнате никого нет, брат давно встал и готовится к прогулке, а Йоши думал, что он спит еще! Мама наконец отлипла от роюля, и с ней можно разговаривать как с обычным человеком. Йоши улыбается от удовольствия, что все идет так хорошо.

За завтраком настроение у него несколько портится, потому что он не любит много есть, а тут в присутствии родителей не покапризничаешь. Хорошо еще, что супа нет. Правда, они едят его очень редко, но Йоши его вообще не переносит. Тут уж ничего не поделаешь — стоит перед Йоши появиться миске супа, у него сами собой наливаются чем-то соленым глаза, голова краснеет, как редиска, только белые мокрые перышки волос торчат во все стороны. В таких случаях мама сдается первой. На зависть Ханзи, никогда не получающему таких поблажек, она подвигает Йошину миску папе и говорит: «Гаральд, подкрепись еще вот этим. Твой младшенький — весь в тебя».

Папа замирает, изучающе глядя сквозь очки на маму, наверное, решает вопрос: развестись ему с ней или нет. Потом медленно ест Йошкин суп... А мама, как ни в чем не бывало, ставит в своей комнате на полную мощность пластинку Моцарта и распахивает пошире дверь, чтобы в кухне, где завтракает семья, было слышно даже, как дышит старик дирижер. Папа разговаривает с сыновьями знаками.

Поев салату с кусочком колбасы и выпив ячменного кофе, Йоши просит разрешения встать из-за стола. Папа, поглаживая бороду, смотрит на него через свои окуляры, решая, разрешить или нет. Потом кивает сыну, и тот пулей несется собирать игрушки с собой, на прогулку.

Оставшись вдвоем с отцом, Ханзи, доедая бутерброд с сыром, роняет небрежно:

— Папа, а я еще одно слово по-русски выучил. Хочешь, скажу?

— Говори.

Но в этот момент к столу подходит мама, и Ханзи краснеет и молчит.

— Ну? — ждет папа. — Лучше бы ты выучил сначала, как будет по-русски «хвастун».

Папа с мамой смеются, не выдерживает и Ханзи. Он делает страшную гримасу, рычит и выбегает из-за стола.

...Папина машина, старенькая «школа», стоит во дворе. К ней направляется процессия каждое воскресенье: впереди идет папа с сумкой, где лежат термос и провизия, ракетки и мячи для бадминтона, за ним — мама с ковриками и одеялами, следом за нею — Йоши, нагруженный игрушками, а позади всех идет Ханзи с папиным биноклем. То, что он сейчас самый последний, еще ни о чем не говорит. Он может себе это позволить, потому что в машине он всегда сидит рядом с отцом на переднем сиденье, а Йоши с мамой — сзади. Так полагается: Ханзи старше, а Йошке впереди нечего делать — он не знает дорожных знаков и правил уличного движения и вообще пока не помощник папе.

Ханзи, сидящий впереди, зорек, но, к сожалению, часто замечает и то, что мог бы и не заметить. Он видит в зеркало, как по дороге мама

вдруг достает из сумочки конфету и дает Йошке. Затем все в машине замирает, слышно лишь, как Йошка причмокивает. Второй конфеты не предвидится. Ханзи не оборачивается, он только сопит, белобрыса макушка его розовеет, а на носу проступают капельки пота.

Мама, переглянувшись с папой, говорит:

— Ха-а-нзи! Перестань, ты ведь уже большой а Йоши еще маленький.

— Да-а, — не выдерживая, оборачивается Ханзи, — а когда я был маленький, ты мне не давала так часто конфеты!

Папа за рулем дернул бородой и, скосив голову, посмотрел на сына мимо очков.

— Ханнес, прекрати эту торговлю. Ты не мужчина.

— А Йошка — мужчина?

Никто ему не отвечает. Ханзи пальцем поправляет очки и вздыхает: вот она, справедливость взрослых! Они даже не считают нужным продолжить разговор.

Когда их маленькая «шкода» подкатила к парку Фридрихсхайн и все вышли, чтобы поиграть на лужайке в гольф, пока нет очереди и можно свободно взять клюшки и шарики, Ханзи решил сначала объявить забастовку — пусть играют без него, но потом передумал. Он еще найдет способ доказать папе и маме, что они ошибаются, отдавая все лучшее Йошке и забывая про существование другого своего сына...

Потом они поехали в настоящий дикий лес. Там росли огромные буковые деревья, липы, каштаны, и было так много кустов и всяких дремучих зарослей, что тут не сразу сориентировался бы даже сам Смелый Сокол или Верная Рука, Друг индейцев. Пошел дождь, было слышно, как наверху капли шлепают по листьям, но сюда вниз, под толстую крышу из ветвей и зелени, они не в силах были пробиться, только ненадолго потемнело вокруг, словно вечер вдруг наступил.

Там они поиграли в прятки, потом, когда дождь совсем перестал, погоняли ракетками мячи с перьями.

Потом они заехали в другой парк, там стоял очень древний замок какого-то короля, но самое главное — рядом с замком был павильон, где продавались сосиски и лимонад. Сосисок Ханзи не хотел, а вот лимонаду напился досыта — платил папа. Ханзи, чтобы растянуть удовольствие, медленно цедил сквозь зубы холодную пузыристую жидкость и размышлял о том, что, если бы и мама приняла участие в расходах и выделила хотя бы пятьдесят пфеннигов, то можно было бы найти и другой киоск с лимонадом или еще чем-нибудь...

Когда выезжали из ворот королевского парка, папа вдруг решил устроить испытание старшему сыну. Он сказал:

— Ханнес, ты все время хвастаешь. И даже тем, что знаешь все дороги вокруг Берлина, помнишь наизусть все знаки и прочее. Давай сделаем так: дорогу домой будешь показывать ты. Ну, хотя бы подсказывать мне, куда поворачивать. Согласен?

Ханзи кивнул и поправил очки — просто так, на всякий случай. На душе у него было не очень хорошо, уж больно неожиданным было папино предложение.

Мама забеспокоилась было, но потом решила, что это не опасно и к тому же не лишено интереса. Даже Йошка, который собирался подремать у нее на коленях, и тот оживился, сон его как рукой сняло.

Из парка Ханзи попросил почему-то поехать кружным путем. И тут, минут этак через пять, то справа, то слева навстречу стали попадаться тележки с мороженым, пирожками или со «сладкой ватой». Просто на удивление много таких тележек оказалось на этой аллее — словно их собрали со всего Берлина и свезли сюда. Каждый раз, когда машина проезжала мимо очередной мороженщицы, Ханзи поворачивал голову, поправлял очки и внимательно смотрел на папу, словно с трудом узнавал его. Будто это и не его папа был совсем.

Но папино лицо было невозмутимым, словно папа ехал сейчас один в пустыне. Тогда Ханзи невзначай взглядывал на маму, но та была занята своими мыслями. Наверное, вспоминала какой-нибудь мотив из Бетховена или Чайковского.

Папа был упорный. Но наконец ему наскучило такое изучение его бороды, и он сказал: «Ну, ладно, так и быть...»

Когда все снова усаживались в машину, мама, вытирая Йошке запачканную шоколадом щеку, сказала:

— Ханзи, только, пожалуйста, не вези нас мимо магазина игрушек — у нас дома и так свалка, ты же знаешь.

Машина поехала вправо, по небольшой аллейке, потом выехала на большое шоссе. Папа прибавил скорость, слева и справа замелькали аккуратные одноэтажные домики с кустами роз за невысокими заборчиками. Проносились дорожные указатели с названиями районов и улиц, но «школа» летела так быстро, что Ханзи не успевал различать даже начальных букв, хотя в классе он был одним из первых в чтении.

Он уже не узнавал местность, и его душа перемещалась в данный момент поближе к пяткам. Не хватало еще заблудиться! Тогда уже папа никогда больше не посадит его рядом с собой.

Вот он сейчас едет и посмеивается. Наверное, думает, что Ханзи хорошо знает эти места. Он спокоен, ему что — сиди себе, педали нажимай. А вот потом придет в какую-нибудь деревню — спохватится, а поздно будет. Лучше бы уж вынул карту да сверился бы по ней.

...Нет, да это, кажется, уже снова парк Фридрихсхайн. Точно — вон промелькнула вдаль смотровая площадка!

— Папа, сейчас поверни налево!

— Почему? — удивился папа весьма серьезно. Ему казалось, что ехать надо прямо, правда, он сам никогда не бывал в этих краях, хотя дом, где они жили, судя по всему, находился недалеко отсюда.

— Поверни, пожалуйста!

— Но ты точно знаешь дорогу? — спросила мама обеспокоенно.  
— Не бойтесь, знаю, — заверил Ханзи.

Они въехали в длинную узкую улицу, упоравшуюся где-то вдалеке в цепочку зеленых деревьев, скрывающих от глаз горизонт.

— До конца улицы и сразу направо, — уточнил Ханзи, и вдруг стал маленьким, сполз вниз на сиденье и затих, уже не глядя по сторонам.

Папа лихо газанул, «школа» домчалась до угла и свернула направо. Тут папины руки бессильно сползли с баранки, он выставил вперед бороду и окаменело изучал сквозь очки открывшийся перед ним живописный вид. Йошка восхищенно хихикал. А мама набирала дыхание для последующих слов — не так-то просто перейти от Бетховена к теме воспитания.

Сразу за углом, перед носом автомашины открывалась небольшая тупиковая площадь с единственным зданием по правой стороне, на котором во всю длину фасада тянулась вывеска:

**«ДЕТСКАЯ КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ: КОФЕ — ПИРОЖНОЕ — СЛИВКИ — КРЕМ — ШОКОЛАД — БОН-БОН — КОНФЕТЫ — МОРОЖЕНОЕ — ВАФЛИ — ТОРТЫ — ПЕЧЕНЬЕ — ФРУКТЫ В САХАРЕ — ОРЕХИ — МАРМЕЛАД — ДЖЕМ — СИРОПЫ — ЛЕДЕНЦЫ...»**

— Вот странно, — сказал удивленно Ханзи, вертя во все стороны своей белобрысой головой. — И когда успели построить?

Папа хохотал, запрокинув голову, а у мамы все приготовленные воспитательные слова куда-то улетучились, она тоже смеялась. Наконец, когда все стихло, Ханзи взялся за ручку дверцы.

— Можно узнать, — спросил папа, — куда это ты собрался?

— Ноги затекли, — ответил сын. — А вы разве не хотите выйти?..

...Когда они сидели в кафе, мама спросила:

— Ханзи, ты нас когда-нибудь привезешь домой? Или ты хочешь, чтобы мы все заболели?

— Теперь уж прямо домой, — вздохнул Ханзи. Он с трудом доедал вторую порцию крема, нехотя поглядывая на кофе со сливками, который тоже ждал его.

Завтра в школе будет что рассказать про это долгое воскресенье.



## **СО Д Е Р Ж А Н И Е**

Ожидание . . . . .	3
Заказ для Павлика . . . . .	15
Дорожный рассказ . . . . .	26
Тишина майора Ансимова . . . . .	34
Патруль идет по городу . . . . .	43
Долгое воскресенье Ханнеса . . . . .	57

**Юрий Сергеевич НОВИКОВ**

**УЛИЦА ПОЛНА СВЕТА**

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 03.07.84. Подписано к печати 27.08.84. А 00410. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,19. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 92 000 экз. Изд. № 2404. Зак. № 3095. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



Цена 25 коп.

Индекс 70668

## **МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ—НАПРОКАТ**

Баяны, гармони, пианино,  
аккордеоны... на любой срок  
предлагает НАПРОКАТ служба быта.

При долгосрочном прокате  
музыкальных инструментов  
предоставляется скидка.

**Росбытреклама**